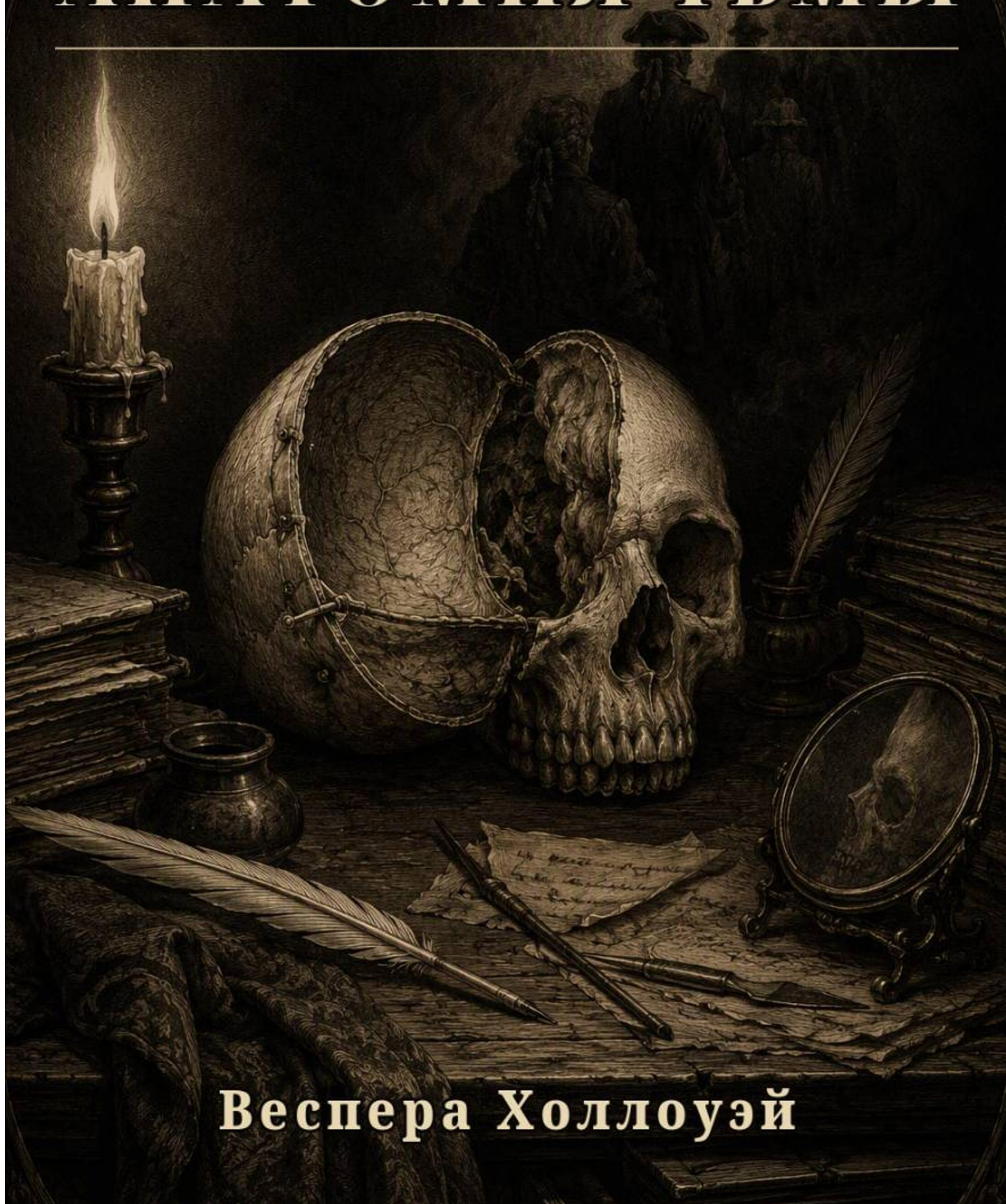


АНАТОМИЯ ТЬМЫ



Веспера Холлоуэй

Веспера Холлоуэй

Анатомия тьмы

«Автор»

2026

Холлоуэй В.

Анатомия тьмы / В. Холлоуэй — «Автор», 2026

Эта книга не утешает. Она вскрывает. Двенадцать глав — двенадцать срезов человеческого материала. Страх, написавший первую ведомость. Голод, построивший больше, чем боги. Жестокость как тариф. Психиатрия как лавка ярлыков. Психопатия как карьерное преимущество. Элиты как столовая с вечными местами. И в финале — зеркало, в котором читатель встречает главный механизм книги: самого себя. Тёмный поп-интеллектуализм: точные факты, реальные дела, а там, где спорят историки, — честная пометка «историки спорят». Психология, история и философия работают как три лампы над одним анатомическим столом. В каждой главе — сорок голых тезисов без украшений, кейс-разбор, ироничная пауза и вопрос-переворот, после которого книгу нельзя закрыть, не посмотрев в зеркало. Никакой морали. Никакого утешения. Только срезы. Я вскрываю то, о чём не принято говорить. Комфорт здесь не предусмотрен.

© Холлоуэй В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

АНАТОМИЯ ТЬМЫ	7
Тёмная психология человека — от первобытного страха до зеркала	7
Вespera Холлоуэй	8
Я вскрываю то, о чём не принято говорить. Комфорт здесь не предусмотрен	8
Аннотация	9
ГЛАВА 1. ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ НАУЧИЛОСЬ БОЯТЬСЯ САМО СЕБЯ	10
Открытие. Сначала — треск ветки	11
1. Исторический слой	12
1.1. Страх старше человека	12
1.2. «Свой» и «чужой»: граница живёт в голове	13
1.3. Иерархия: вождь как успокоительное	14
1.4. Насилие как первый язык	15
1.5. Ритуал вместо крови	16
1.6. Как страх родил богов	17
2. Психологический слой	18
2.1. Машина тревоги: как устроена сигнализация	18
2.2. Как страху учат: крыса и громкий звук	19
2.3. Минимальная группа: как мало нужно для «нас» и «них»	20
2.4. Управление ужасом: что психика делает со смертью	21
2.5. Когнитивные искажения: фабрика чудовищ	22
3. Философский слой	23
3.1. Гоббс: страх как первый политолог	23
3.2. Макиавелли: инженер страха	24
3.3. Ницше: мораль как месть слабым	25
3.4. Жирар: козёл, который несёт грехи	26
3.5. Беккер: бессмертие как валюта	27
4. Кейс-разбор: Страсбург, февраль 1349 года	28
4.1. Входные данные	29
4.2. Конструкция обвинения	30
4.3. Страсбург: как это работает на практике	31
4.4. Разбор механизма по винтикам	32
5. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА	33
6. Ироничная пауза. Совещание у костра	34
7. Иллюстрации	35
8. Финал. Вопрос-переворот	36
Сноски к главе 1	37
ГЛАВА 2. ГОЛОД СТРОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОГ	40
Открытие. Инвентарная опись	41
1. Исторический слой	43
1.1. Дефицит как первый закон	43
1.2. Как еда стала «моей»: рождение собственности	44
1.3. Зернохранилище — зародыш государства	45
1.4. Закон: параграфы из глины	47

1.5. Брак как хозяйственный договор	49
1.6. Война за амбар	50
1.7. Голод как оружие	52
1.8. Деньги: зерно, которое научилось летать	53
1.9. Голод и мораль: архив свидетельств	55
1.10. Очередь: маленькая анатомия распределения	56
1.11. Перепись: как государство учится считать людей	57
1.12. Эпилог исторического слоя: что не изменилось	58
2. Психологический слой	59
2.1. Физиология голода: тело отзывает мандат	59
2.2. Миннесотский эксперимент: тридцать шесть недель внутри голода	60
2.3. Дефицит съедает разум: наука о скудости	63
2.4. Мораль на диете: что психика делает с принципами	64
2.5. Хлеб и зрелища: экономика лояльности	65
2.6. Память голода: как дефицит становится характером	68
2.7. Разрыв эмпатии: почему сытый не понимает голодного	70
3. Философский слой	72
3.1. Мальтус: арифметика апокалипсиса	72
3.2. Маркс: базис и надстройка	73
3.3. Руссо: огороженный участок	74
3.4. Полани: великая трансформация	75
3.5. Марвин Харрис: кухня, на которой варилась мораль	76
3.6. Амартия Сен: голод как провал прав	77
3.7. Мосс: дар, который связывает	78
4. Кейс-разбор: Бенгалия, 1943	79
4.1. Декорации	79
4.2. Хронология катастрофы	80
4.3. Еда была	81
4.4. Механизм по винтикам	82
4.5. После и выводы	83
4.6. Хор голодающих столетий: что повторяется	84
5. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА	85
6. Ироничная пауза. Инспекция в муравейнике	86
7. Иллюстрации	87
8. Финал. Вопрос-переворот	88
Сноски к главе 2	89
ГЛАВА 3. АНАТОМИЯ ЖЕСТОКОСТИ	92
Открытие. Звонок в дверь	93
1. Исторический слой	95
1.1. Жестокость как фон: мир, где боль была зрелищем	95
1.2. Людоество ума: как делается «не-человек»	98
1.3. Война как фабрика: дрессировка убийцы	99
1.4. Резня соседей: когда убивает не армия	100
1.5. Машина: бюрократия смерти	101
1.6. Пытка как ремесло: боль с печатью	102
2. Психологический слой	105
2.1. Йель, 1961: эксперимент, который нельзя повторить	105
2.2. Стэнфорд, 1971: тюрьма, построенная за шесть дней	108
2.3. Банальность зла под прибором: Арендт и её критики	110

2.4. «Обычные люди»: что архив сказал о батальоне	111
2.5. Привыкание: как доза растёт сама	113
2.6. Моральное отключение: восемь рубильников Бандуры	114
2.7. Аппетит: жестокость, которая нравится	115
2.8. Счёт исполнителю: что платит тот, кто нажимал	116
3. Философский слой	117
3.1. Арендт: зло как отказ от думанья	117
3.2. Левинас: лицо как последний запрет	118
3.3. Шкляр: жестокость первым делом	119
3.4. Жирар: жестокость как клей	120
3.5. Фромм: зачем человеку зло	121
3.6. Ницше: жестокость как память	122
4. Кейс-разбор: Юзефув, 13 июля 1942 года	124
4.1. Почему именно этот эпизод	124
4.2. Входные данные	125
4.3. Как это происходило	126
4.4. Механизм по винтикам	127
4.5. После Юзефува: что стало с людьми и с уроком	128
4.6. Контрольный кейс: Милай, 16 марта 1968 года	129
5. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА	132
6. ИРОНИЧНАЯ ПАУЗА	135
Должность	135
Приложение 12. Краткая инструкция по эксплуатации человека	136
7. ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 3	137
8. ФИНАЛ	138
СНОСКИ К ГЛАВЕ 3	140
ГЛАВА 4. ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО	142
Конец ознакомительного фрагмента.	143

Веспера Холлоуэй

Анатомия тьмы

АНАТОМИЯ ТЬМЫ

**Тёмная психология человека — от
первобытного страха до зеркала**

Веспера Холлоуэй

**Я вскрываю то, о чём не принято
говорить. Комфорт здесь не предусмотрен**

Аннотация

Эта книга не утешает. Она вскрывает.

Двенадцать глав — двенадцать срезов человеческого материала. Страх, который написал первую ведомость. Голод, который построил больше, чем боги. Жестокость как тариф. Добровольное рабство как удобная очередь. Женщины и дети как первая валюта. Психиатрия как лавка ярлыков. Утраченные технологии как счёт, выставленный вечности. Психопатия как карьерное преимущество. Элиты как столовая с вечными местами. Сердце как разводящий собственной раздачи. И в финале — зеркало, в котором читатель встречается главный механизм этой книги: самого себя.

Это тёмный поп-интеллектуализм: точные факты, реальные дела, спорные эпизоды — с пометкой «историки спорят» там, где спорят историки. Психология, история и философия работают здесь как три лампы над одним анатомическим столом. Никакой морали. Никакого утешения. Только срезы.

В каждой главе — исторический слой, психологический слой, философский слой, кейс-разбор, сорок голых тезисов без украшений, ироничная пауза и финальный вопрос-переворот, после которого книгу нельзя закрыть, не посмотрев в зеркало.

Я вскрываю то, о чём не принято говорить. Комфорт здесь не предусмотрен.

ГЛАВА 1. ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ НАУЧИЛОСЬ БОЯТЬСЯ САМО СЕБЯ

Я вскрываю то, о чём не принято говорить. Комфорт здесь не предусмотрен.

Психология человека с древних времён: страх как архитектор; «свой» и «чужой»; иерархия и выбор вождя; насилие как первый язык; ритуал вместо крови; как страх родил богов и нормы.

Вопрос главы: если завтра исчезнет страх — что останется от твоей морали?

Открытие. Сначала — треск ветки

Ночь. Африканская саванна, примерно двести тысяч лет назад. Точная дата не важна — важна акустика. В темноте трещит ветка.

Существо, которое через двести тысяч лет станет тобой, замирает. В груди — удар, потом ещё один, быстрее. Кровь уходит из кожи в мышцы. Зрачки расширяются, чтобы вобрать остатки света. Желудок вежливо прекращает переваривать ужин — не до него. Всё это происходит до того, как существо успевает подумать. Точнее — вместо того чтобы подумать. Думать оно будет потом, если выживет.

Ветка треснула под лапой леопарда. Или под ногой чужого. Или просто упала. Статистика у этого вопроса жестокая: тот, кто каждый раз останавливался рассуждать, не оставил потомства. Тот, кто пугался зря тысячу раз, умер в своей постели — ну, в своей куче травы — в почтенном возрасте. Эволюция не награждала за точность. Эволюция награждала за выживание, а выживание — это лотерея, где ставка на страх окупается всегда, кроме тех случаев, когда окупается ставка на глупую смелость. Такие случаи бывали. Мы — потомки тех, кто пугался зря.

Запомни этот кадр. Он ещё пригодится, когда речь пойдёт о богах, законах, границах, очередях, судах, гимнах и о том, почему вежливый сосед с хорошей вывеской на двери голосует за то, о чём предпочитает не думать. Всё это — та же ветка в темноте. Просто у нас теперь есть время рассуждать — роскошь, которой у предка не было. Рассуждать мы научились. Перестать пугаться — нет.

Эта книга не утешает. Договоримся сразу: здесь не будет финала, где человечество взрослеет и всё понимает. Здесь будет анатомия — холодная, точная, местами смешная, потому что абсурд, если его разрезать аккуратно, всегда смешон. Вскрытие показывает не то, что приятно видеть, а то, что есть. Первый орган на столе — страх. Не потому, что он самый страшный. А потому, что он — фундамент. На нём построено всё остальное: мораль, право, вера, власть, семья, очередь за колбасой и концертный зал. Снимай крышку черепа — смотри.

1. Исторический слой

1.1. Страх старше человека

Страх не придумали люди. Люди придумали для страха названия, храмы и параграфы, а сам страх был здесь задолго до нас и, судя по всему, останется после. Он старше млекопитающих. Он старше позвоночных, если считать страхом любую программу «обнаружил угрозу — спасай тело». Когда биологи говорят о миндалевидном теле — миндалине, миндалине мозга, том самом миндалевидном комплексе, что метит переживание как опасное, — они говорят о структуре, которая в зачаточном виде есть у рептилий и которая досталась нам по наследству вместе с позвоночником, челюстью и привычкой есть друг друга [1].

Разберём устройство, потому что оно объясняет половину человеческой истории. Информация об угрозе идёт двумя дорогами — этот механизм подробно описал нейробиолог Джозеф Леду [2]. Первая дорога — короткая, «низкая»: от органов чувств напрямую к миндалине. Быстрая, грубая, без фактчекинга. Змеевидное изогнутое нечто на тропе — прыжок в сторону раньше, чем зрительная кора успела установить, что это палка. Вторая дорога — «высокая»: через кору, с анализом, с уточнением, с чувством собственного достоинства. Медленная. На доли секунды медленнее — а в саванне доля секунды это и есть разница между предком и обедом.

Отсюда первый неудобный вывод, который понадобится нам до конца книги: нервная система человека проектировалась не для истины, а для выживания. Она заведомо настроена на ложные тревоги. Психолог Рандольф Нессе сформулировал это как «принцип дымового датчика»: датчик, который срабатывает от жареной рыбы, но зато не пропускает пожар, — хороший датчик; ложная тревога стоит дёшево, пропущенная угроза стоит жизни [3]. Поэтому мы — потомки параноиков. Спокойные, рассудительные, точно калибрующие риск существа не оставили потомства — они оставили кости.

И вот парадокс, от которого никуда не деться: цивилизация — это проект, запущенный параноиками. Всё, что мы называем порядком, культурой, безопасностью, нормой, — надстройка над древней сигнализацией, которая до сих пор орущая, до сих пор настроена на саванну и до сих пор не читает инструкций. Мы построили оперный театр на фундаменте бомбоубежища и удивляемся, что в партере иногда пахнет гарью.

1.2. «Свой» и «чужой»: граница живёт в голове

Вторая конструкция, которую нужно рассмотреть вблизи, — граница между «своими» и «чужими». Она не нарисована на картах. Карты рисуют её копию, грубую и позднюю. Оригинал — в голове, и он старше любого государства.

Антрополог Робин Данбар в начале 1990-х предложил аккуратную, почти бухгалтерскую модель [4]. Он сопоставил размер неокортекса у приматов с размером их социальных групп и обнаружил корреляцию: чем больше кора — тем больше особей животное способно «держат в голове» как полноценных знакомых, с учётом того, кто кому кем приходится, кто кого чистил и кто на кого обижен. Для человека расчёт дал число около 150 — знаменитое «число Данбара». Примерно столько устойчивых социальных связей человек способен поддерживать без бюрократии: без списков, удостоверений и отдела кадров. Показательно, что историки и этнографы находят порядок этого числа в самых разных местах: в размере неолитической деревни, в роте профессиональной армии, в традиционных общинах. Скептики спорят о точной цифре — и правильно делают; порядок величины, впрочем, подтверждается упорно.

Что это значит на языке механизмов? Что «свой» — это не ценность, а ёмкость. Круг лиц, которых психика способна воспринимать как полноценных людей, мал. Внутри круга работают эмпатия, честность, жалость, чувство вины. Снаружи — работает всё остальное. Чужой — это тот, к кому мораль применяется по остаточному принципу, если хватает ресурса. Цивилизация — это, среди прочего, многовековая попытка растянуть круг: через религию («все дети одного бога»), через право («все равны перед законом»), через паспорт («все, кто по эту сторону границы, — свои»). Попытка великая и местами успешная. Но механизм под ней древний, и он никуда не делся: при дефиците — еды, безопасности, статуса — круг сжимается обратно, быстро и без стыда. Об этом молчат школьные учебники и кричат архивы.

Проверим на полевых данных. В 1954 году психолог Музафер Шериф провёл знаменитый эксперимент «Пещера грабителей» в Оклахоме [5]. Двадцать два мальчика лет одиннадцати — нормальные, благополучные, из приличных семей — были разделены на две группы, которые первое время даже не знали друг о друге. Каждая группа построила свою культуру: название («Гремучие змеи» и «Орлы»), флаг, территорию, нормы. Потом группам дали друг о друге узнать — и устроили серию соревнований. Через считанные дни «нормальные мальчики из приличных семей» жгли чужие флаги, готовили ночные набеги и говорили о противнике так, как взрослым говорить стыдно. А потом Шериф проделал обратный фокус: дал лагерю задачи, которые одна группа не могла решить без другой, — и вражда стихла. Не исчезла, но отступила.

Весь эксперимент занял около трёх недель. Три недели — от «свой/чужой» до готовности к погрому и обратно. Стоит помнить об этом всякий раз, когда кто-то говорит, что «наш народ никогда бы». Никогда бы — это всегда срок не более трёх недель.

1.3. Иерархия: вождь как успокоительное

Третья древняя конструкция — вертикаль. Иерархия старше человека настолько, что считать её «социальным изобретением» могут только те, кто не наблюдал за курами.

Норвежский зоолог Торлейф Шельдеруп-Эббе в начале 1920-х описал у домашних кур «порядок клевания» — pecking order [6]. Строгая линейная иерархия: курица А клюёт всех, курица Б клюёт всех, кроме А, и так далее до самой низшей, которую клюют все и которая, по наблюдениям, чахнет. Никакой теории справедливости, никакого контракта. Просто каждая особь знает своё место, потому что не знать своё место — дорого. Позже то же самое описали у десятков видов, включая приматов — наших ближайших родственников, у которых иерархия управляет доступом к еде, партнёрам и безопасному месту для сна.

Приматолог Роберт Сапольски, десятилетиями наблюдавший стада павианов в Кении и снимавший у них анализы на гормоны стресса, показал: иерархия — это физиология [7]. У доминантных самцов один профиль кортизола, у подчинённых — другой; низкий статус — это хронический стресс, измеримый в крови. Но есть нюанс, важный для всей дальнейшей книги: стрессовее всего живётся не на самом верху и не на самом низу, а там, где статус нестабилен, — где идёт борьба. Стабильная иерархия, какой бы несправедливой она ни была, снижает общий уровень насилия в группе. Группа без выясненного «кто главный» — это группа, которая выясняет это постоянно, когтями.

Теперь переведём на человека — осторожно, потому что человек не павиан, но и не ангел. Вождь в глубокой древности — это не должность, а функция: тот, кто в момент опасности снимает с группы невыносимую задачу решать. В момент, когда трещит ветка, группе нужен не самый умный и не самый добрый — группе нужен тот, кто уже бежит в конкретную сторону. Уверенность — вот валюта, которой платит вождь и которую группа скупает жадно. Отсюда неприятная закономерность, которая будет красной нитью идти через всю книгу: группа прощает вождю жестокость охотнее, чем нерешительность. Жестокость направлена наружу или вниз, а нерешительность — она про то, что ветка треснула, а вождь ещё думает.

Так рождается первый политический контракт — задолго до философов, которые его опишут. Группа отдаёт вождю излишек: лучший кусок, лучшее место, право первого слова. Вождь отдаёт группе порядок и защиту — или хотя бы их убедительную имитацию. Контракт нигде не записан, но действует до сих пор, и расторгнуть его труднее, чем ипотеку.

1.4. Насилие как первый язык

Есть уютная теория, согласно которой древний человек был мирным, а насилие изобрели потом — вместе с государством, частной собственностью и прочими неприятностями. Теория уютная, но археология о ней сломала себе зубы.

Начнём со льда. В 1991 году в Эцтальских Альпах нашли тело человека, которого назвали Эци: он умер примерно 5 300 лет назад и великолепно сохранился в леднике [8]. Сначала думали — замёрз. Потом, в 2001 году, рентген и томография показали в его левом плече кремневый наконечник стрелы, задевший артерию. Эци был убит выстрелом в спину. За несколько дней до смерти он получил глубокую рану ладони — характерную оборонительную: ладонь режется о лезвие, когда перехватываешь чужой удар. Человек каменного века, умелый, хорошо экипированный, с медным топором — ценнейшей вещью своего времени, — закончил жизнь так, как заканчивают жизнь фигуранты уголовных дел. Никакого государства не было. Насилие было.

Теперь — масштаб. Кладбище Джебель-Сахаба в Судане, раскопанное в 1960-х: возраст, по разным оценкам, от 11 до 14 тысяч лет — задолго до земледелия, городов, письменности и, строго говоря, почти всего [9]. Среди десятков захороненных — мужчины, женщины, дети — у значительной части в костях и между костями обнаружены кремневые наконечники и следы ран. Повторный анализ коллекции, опубликованный в 2021 году, показал: ранения неоднократны, зажившие раны соседствуют со свежими — то есть люди на Ниле того времени воевали не однажды, а регулярно, и хоронили своих убитых с заботой, о чём свидетельствуют само кладбище и обряд [9]. Заметь композицию: забота о своих мёртвых — и наконечники в чужих телах. Оба инстинкта уже на месте, оба древние. Не насилие против любви, а насилие рядом с любовью, под той же крышей черепа.

Могила в Тальхайме, Германия, около 5000 года до нашей эры: тридцать четыре скелета в общей яме — мужчины, женщины, дети, — многие с ударами каменных топоров по затылку, нанесёнными сзади [10]. Это называется «яма смерти Тальхайма», и она не одна такая в Европе эпохи ранних земледельцев. Антрополог Лоуренс Кили в книге «Война до цивилизации» (1996) собрал статистику по археологии и этнографии и получил цифры, от которых неуютно: доля погибших от насилия в догосударственных обществах в среднем куда выше, чем в современных государствах — включая государства XX века с их мировыми войнами [11]. С выводами Кили спорят, статистику уточняют, догосударственные общества не все были одинаково воинственны — всё это так. Но миф о мирном древнем человеке после этих находок можно хоронить. Желательно с наконечником, по традиции.

И финальный штрих — от наших ближайших родственников. В Гомбе, Танзания, в 1974–1978 годах группа Джейн Гудолл наблюдала то, что назвали «четырёхлетней войной» шимпанзе: одна община раскололась на две, и самцы северной группы систематически, сериями засад, убили всех взрослых самцов южной, после чего заняли их территорию [12]. Убийства были не спонтанными драками, а координированными рейдами: несколько самцов находили одинокого чужого и забивали его насмерть. Никакой культуры, никакой идеологии, никакого нацизма. Приматы, территория, численное превосходство — и холодный расчёт «пять на одного», который исследователи потом не раз регистрировали и у людей в самых разных логовах истории.

Насилие не вошло в человеческую жизнь с цивилизацией. Оно было здесь до нас — у предков, у родственников, у соседей по саванне. Человек не изобрёл насилие. Человек изобрёл способ делать его реже и называть это прогрессом. Вот об этом способе — следующий раздел.

1.5. Ритуал вместо крови

Проблема древней группы не в том, что в ней есть насилие. Проблема в том, что насилие в ней заразно. Обида порождает месть, месть — ответную месть, и через два поколения никто не помнит, с чего началось, но все помнят, кому должны. Группа, которая не умеет гасить этот цикл, умирает — от внутренней резни или от соседей, пока занята своей. Выжившие группы — это те, что изобрели прокладку между импульсом и ударом. Прокладку называли ритуалом.

Механику этого процесса лучше других описал французский мыслитель Рене Жирар в книге «Насилие и священное» (1972) [13]. По Жирару, человеческое желание миметично: мы хотим того, чего хотят другие, и потому другие — наши соперники по определению. Внутри группы без суда и полиции миметическое соперничество неизбежно доходит до кризиса: все против всех. Выход, который культура находит снова и снова в самых разных углах планеты, — козёл отпущения: вся накопленная агрессия выгружается на одну фигуру — изгоя, чужака, царя, осуждённого, — и единодушные толпы в момент расправы восстанавливают мир. Жертва становится священной: именно она «впитала» насилие и «вернула» гармонию. Отсюда, по Жирару, растёт само священное — и первые ритуалы: регулярные, управляемые повторения той первой разрядки, чтобы кризис не приходил врасплох.

Жирара можно считать слишком тотальным — так его часто и критикуют. Но материал под него ложится с пугающей гладкостью. В Книге Левит описан обряд: первосвященник возлагает руки на козла, «исповедует над ним все беззакония» общины и отправляет его в пустыню — грехи буквально перекалдываются на животное и выводятся за периметр [14]. У греков существовал фармакос — человек-изгой, которого в дни общественного бедствия изгоняли или убивали, чтобы «очистить» город [14]. Человеческие жертвоприношения известны этнографии и археологии на всех обжитых континентах; масштабы, как в случае ацтекских обрядов на Темпло-Майор, историки до сих пор уточняют, и здесь честнее сказать: источники испанских завоевателей и археология расходятся в цифрах, и спор этот не закрыт [15].

Но ритуал — это не только нож на пирамиде. Это любая упаковка насилия в форму, которая делает его предсказуемым и ограниченным. Дуэль вместо войны семей. Суд вместо самосуда. Компенсация вместо мести: в германских правдах — а «Салическая правда» записана в начале VI века — за убийство, увечье и даже за оскорбление полагался вергельд, точный денежный тариф, где цена жизни свободного, раба и епископа стояла в разных строках, но в одной логике: кровь заменяется расчётом [16]. Отвратительно? Да. Но сравни с альтернативой — бесконечной вендеттой, — и расчёт вдруг выглядит гуманизмом. Так человечество и двигалось: не от зла к добру, а от хаотичного зла к оформленному. Оформленное зло — уже цивилизация, в нём меньше крови на квадратный метр.

Проведи пальцем по этой линии и доведи до сегодня: спортивные трибуны, корпоративное сокращение с регламентом и выходным пособием, интернет-травля с её почти ритуальной хореографией. Формы меняются, функция та же — выгрузить насилие группы в управляемое русло. Ритуал не отменил кровь. Ритуал научился подавать её по расписанию.

1.6. Как страх родил богов

Осталась последняя деталь фундамента — самая нежная. Поговорим о том, откуда взялись боги. Нежная эта тема потому, что задевает самое дорогое, но книга называется «Анатомия тьмы», а не «Анатомия уюта».

Смотри на факты. Где-то между 100 и 60 тысячами лет назад — в Шанидаре, в Кафзехе, позже в Сунгире, где мальчика и девочку похоронили 34 тысячи лет назад с тысячами бус из мамонтовой кости, — люди начинают хоронить мёртвых [17]. Не выбрасывать тело, а укладывать: в определённую позу, с вещами, с красной охрой — цветом крови и жизни. «Цветочные похороны» Шанидара — знаменитая гипотеза о цветах в могиле — ныне оспаривается, и честная наука говорит об этом прямо [17]. Но сам факт заботливого захоронения не оспаривается. Что это значит на языке механизмов? Что существо, которое боится смерти, впервые договорилось с ней: смерть перестала быть концом и стала переходом. Страх не исчез — страх получил сюжет.

Античные мыслители видели это без всякой этнографии. Строка «страх первым создал богов в мире» приписывается римским авторам — чаще всего её связывают с Петронием и Стацием [18]. Лукреций в поэме «О природе вещей» разбирает религию как прямую производную страха: гром, болезнь, смерть — и существо, не знающее причин, переносит в небо волю, которую можно умиловить [18]. Две тысячи лет спустя Людвиг Фейербах в «Сущности христианства» (1841) и лекциях о сущности религии доводит мысль до психологической чистоты: бог — это проекция человеческой сущности, а корень религии — страх и зависимость перед силами природы и смерти [19]. Зигмунд Фрейд в «Будущем одной иллюзии» (1927) повторяет диагноз уже языком психоанализа: религия — коллективный механизм совладания с беспомощностью, «иллюзия», рождённая самыми сильными и настоящими желаниями человечества — прежде всего желанием защиты [20].

Здесь важно не поставить ложный диагноз «религия = глупость». Нет. Религия — инженерия. Страх смерти и хаоса — неуправляем, деморализует, разрушает группу паникой. Вера упаковывает этот страх в нарратив с правилами: мир не случаен, смерть не конец, справедливость где-то учитывается, и — критически важно — боги смотрят, в том числе туда, куда не смотрит вождь. Невидимый надзиратель, который видит тайное, — гениальное изобретение для группы, где сплетня и стыд уже не справляются с масштабом. Недаром социологи и историки связывают рост «морализирующих» религий с ростом больших, анонимных обществ: чем больше чужих вокруг, тем нужнее бог, который всё видит [21]. Страх родил богов, а боги родили то, чего не умел делать страх в одиночку, — повиновение без кнута.

Соберём фундамент целиком: страх старше нас; граница «свой/чужой» встроена в железо; иерархия снимает тревогу ценой свободы; насилие древнее любой морали; ритуал — это насилие, посаженное на расписание; боги — это страх, обретший грамматику. На этом стоит всё, что дальше: государство, закон, брак, собственность, школа, клиника, трон. Запомни слово «фундамент». В следующих главах мы будем вскрывать этажи — и всякий раз будем находить в подвале ту же трещину, от которой всё началось.

2. Психологический слой

2.1. Машина тревоги: как устроена сигнализация

Теперь, когда исторический слой отложен в сторону, откроем череп — метафорически, инструменты можно не стерилизовать — и посмотрим, как страх работает в каждом отдельном экземпляре. Потому что история — это статистика, а статистика делается из механизмов, стучащих в отдельных головах.

Тревожная реакция — это каскад. Миндалины, распознав угрозу (точнее: распознав что-то похожее на угрозу — точность не её отдел), будит гипоталамус, тот запускает две линии: быструю — симпатическую нервную систему, адреналин, сердце, мышцы, — и медленную, гормональную: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, кортизол [1]. Адреналин готовит тело к действию «бей/беги» за секунды; кортизол держит систему в боевом режиме дольше, заодно подавляя то, что в бою не нужно: пищеварение, иммунитет, репродуктивные программы. Заметь: механизм эволюционно рассчитан на короткие вспышки — съели или убежал, угроза кончилась, система выключается. Цивилизация подсунула ей угрозы, которые не кончаются: ипотеку, начальника, новости, экзамен, «надо поговорить». Сигнализация, рассчитанная на леопарда, теперь орёт по поводу электронных писем. Результат называется хроническим стрессом, и он выедаёт здоровье так надёжно, что у эпидемиологов есть для этого отдельная наука; Сапольски написал об этом классическую книгу с говорящим названием — «Почему у зебр не бывает инфаркта» [7]. У зебры не бывает, потому что зебра не тревожится о зебре завтрашней. Человек тревожится о человеке через тридцать лет — и платит за эту роскошь телом.

Но важнее другое: тревога имеет право голоса в принятии решений, причём вне очереди. Психологи называют это «эвристикой аффекта»: мы оцениваем риск не по статистике, а по ощущению. Страшно — значит опасно; спокойно — значит безопасно. Классические исследования восприятия рисков (Пол Слович и коллеги) показали: люди боятся авиакатастроф больше, чем автомобильных поездок, хотя статистика утверждает обратное, — потому что катастрофа яркая, неконтролируемая и показана по телевизору [22]. Страх не читает таблиц. Страх смотрит картинки. И все, кто когда-либо управлял толпой — жрец, вождь, редактор, — знали это задолго до того, как наука дала феномену имя: управляй картинками — управляешь страхом; управляешь страхом — управляешь всем.

2.2. Как страху учат: крыса и громкий звук

Страх врождён по механизму, но учебный по содержанию. Программа «бойся» установлена на заводе, а вот список «чего бояться» дозаписывается в эксплуатации. Демонстрация этого — одна из самых известных и самых грязных в истории психологии.

В 1920 году Джон Уотсон и Розали Рэйнер опубликовали эксперимент с младенцем, вошедший в историю как «маленький Альберт» [23]. Ребёнку около девяти месяцев показывали белую крысу — реакция спокойная, любопытная. Затем каждое появление крысы стали сопровождать ударом молотка по стальной полосе за спиной — звук, от которого любой младенец вздрагивает и плачет. Несколько таких пар — и крыса, уже без звука, вызывала плач и попытки отползти. Больше того: страх перенёсся на похожие объекты — кролика, собаку, меховую шубу, маску с бородой. Психология получила доказательство: эмоция обуславливается, страх можно привить к почти нейтральному объекту, и он расползётся по сходству. Этика эксперимента с современной точки зрения чудовищна: рефлексорную фобию ребёнку сформировали и не сняли. Личность «Альберта» позже стала предметом детективных расследований историков психологии; версия о том, что это был мальчик по имени Дуглас Мерритт, оспаривается, и честный ответ звучит так: доподлинно не установлено [23].

Держим в голове два факта. Первый: страх липнет к объекту по простому правилу «было рядом, когда стало больно». Второй: страх обобщается — от крысы к шубе, от одного чужого к «всем таким». Теперь замени лабораторию семьёй, школой, газетой, и получишь готовую технологию воспитания фобий в масштабе общества. Никто не строил её специально — она строится сама, потому что механизм одинаков у младенца, у избирателя и у толпы. Тот, кто хочет привить страх к группе людей, не обязан читать Уотсона. Достаточно интуиции и громкого звука — желательно в прайм-тайм.

2.3. Минимальная группа: как мало нужно для «нас» и «них»

Следующий эксперимент стоит перечитывать всякий раз, когда кажется, что враждебности нужна причина. Не нужна. Нужна граница.

В начале 1970-х социальный психолог Генри Тажфел поставил серию опытов, вошедших в историю как «парадигма минимальной группы» [24]. Британских школьников делили на группы по основаниям, которые сознательно делались пустыми: якобы по предпочтению картин Клее или Кандинского, а в некоторых вариантах — прямым бросанием монетки, о чём участники знали. Никакой истории конфликта, никакой конкуренции за ресурс, никаких различий, кроме ярлыка. Затем участников просили распределить выигрыш между анонимными представителями «своей» и «чужой» групп — не между собой лично и какими-то знакомыми, а между безымянными «номер 14 из твоей группы» и «номер 9 из другой». Результат, воспроизводившийся потом десятилетиями: люди систематически давали больше своим, причём иногда предпочитали схему, где своим достаётся меньше в абсолюте, зато больше, чем чужим, — то есть выбирали не максимум выгоды, а максимум разрыва [24].

Осмысли масштаб находки. Не нужны вековая вражда, другая вера, другой язык. Достаточно ярлыка, полученного жребием, — и психика сама дорисует ценность своим и скидку чужим. Тажфел объяснял это через социальную идентичность: принадлежность к группе — часть «я», и обесценивание чужой группы поднимает цену собственной. Механизм скучный, дешёвый и работает везде: в подъезде, в парламенте, в фанатском секторе, в комментариях. Человеческая история в этом смысле — не сражение идеологий. Это жребий, брошенный много тысяч лет назад, плюс ярлыки, которые успели обрасти флагами, гимнами и кладбищами.

Сложим с данными Шерифа, который показал, как быстро пустая граница обрастает реальной враждой, стоит добавить соревнование [5], — и с данными Соломона Аша, который в 1951 году показал, что примерно три четверти участников хотя бы раз соглашались с заведомо неверным мнением группы о длине линий, просто потому, что группа сказала первой [25]. Конформность — это тоже страх: страх быть вычеркнутым из круга своих. Для существа, чья выживаемость сто тысяч лет зависела от членства в группе, изгнание из круга равносильно смерти, и нервная система обрабатывает его именно как смертельную угрозу. Это не метафора, это физиология: в исследованиях Наоми Айзенбергер с использованием томографии социальное отвержение активировало участки мозга, связанные с «страдательным» компонентом физической боли [26]. Остракизм буквально болезнен. Поэтому одиночное «я против» — один из самых дорогих жестов, доступных человеку, и поэтому так редок.

2.4. Управление ужасом: что психика делает со смертью

Теперь — про главный страх, тот, что стоит за всеми остальными. В 1973 году культурный антрополог Эрнест Беккер опубликовал «Отрицание смерти» — книгу, за которую посмертно получил Пулитцеровскую премию [27]. Тезис Беккера: человек — единственное существо, которое живёт, зная, что умрёт, и это знание невыносимо в чистом виде. Поэтому культура — это, по сути, система защит от ужаса смерти: она предлагает каждому сценарий «геройства», способ стать значимым, оставить след, присоединиться к чему-то большему, чем тело, — к народу, вере, делу, династии. Бессмертие недоступно, доступна символическая валюта — смысл, честь, память, — и психика скупает её по любому курсу.

Психологи Джефф Гринберг, Шелдон Соломон и Том Пищинский превратили идею Беккера в экспериментальную науку — теорию управления ужасом, *terror management theory* [28]. Метод прост и жесток: участникам эксперимента ненавязчиво напоминают о смертности (в контрольной группе — о нейтральной неприятности), а затем измеряют поведение. Результаты, воспроизведённые сотнями исследований: напоминание о смерти усиливает привязанность к собственной культуре и враждебность к чужим; усиливает конформность; усиливает готовность защищать «наши ценности» и наказывать нарушителей. В знаменитом исследовании 1989 года муниципальные судьи, которым напомнили о смертности, назначали залог по условному делу в среднем 455 долларов против 50 в контрольной группе — девятикратная разница, у профессионалов, на реальных половых признаках рабочего дня [28]. Подумай о лошадиной силе этого факта: мысль «я смертен» делает судью строже в девять раз. А теперь вспомни, сколько раз за день новости, плакаты и случайные разговоры напоминают о смерти всем нам — и прикинь, на каком фоне принимаются общественные решения.

Беккер и его экспериментальные наследники дают нам ключ, которым эта книга будет открывать много дверей: всякий раз, когда общество резко и непропорционально реагирует на нарушение нормы — на ересь, на неверный костюм, на чужой акцент, — ищи под реакцией не аргумент, а ужас. Норма — это щит против смертности; нарушитель щита воспринимается как тот, кто подставляет под смерть всех. Отсюда злость, несоразмерная проступку. Отсюда святость, которой наделяют сами щиты. И отсюда главная услуга, которую страх оказывает власти любого типа: тот, кто обещает защиту от смерти — реальной или символической, — получает взамен почти всё.

2.5. Когнитивные искажения: фабрика чудовищ

Осталось перечислить инструменты, которыми разум доделывает за страх грязную работу. Искажений много, но для этой книги критичны четыре.

Первое — негативное смещение: плохое весит больше хорошего. Психологи Рой Баумайстер и коллеги обобщили это в обзоре со знаменитым названием «Плохое сильнее хорошего» (2001): одна критика перебивает несколько похвал, плохие новости запоминаются лучше, потери болят сильнее, чем радуют приобретения того же размера [29]. Это не баг, это наследие дымового датчика: пропустить угрозу дороже, чем пропустить удовольствие. Но следствие для общества огромно: любая среда, которая продаёт внимание — от базарного глашатая до новостной ленты, — рано или поздно вырождается в торговлю угрозами, потому что угроза покупается первой.

Второе — детектор агентности: психика предпочитает видеть за событием намерение. Случайный хруст в темноте дешевле трактовать как «кто-то», а не как «что-то»: ошибка в одну сторону стоит испуга, в другую — жизни [3]. Отсюда мировая конвейерная линия по производству виноватых: засуха — чьё-то намерение, эпидемия — чей-то заговор, беда — чья-то злая воля. Случайность психике не нравится, потому что со случайностью нельзя договориться, её нельзя изгнать, сжечь или оштрафовать. Виноватого — можно. Кейс-разбор этой главы покажет, куда заводит этот механизм в масштабе целого континента.

Третье — обоснование мира: вера в то, что мир устроен справедливо и каждый получает по заслугам. Мелвин Лернер описал её как «гипотезу справедливого мира» [30]: наблюдая чужое несчастье, люди склонны искать, чем жертва его заслужила. Функция искажения — защитная: если беды случаются с виноватыми, а я веду себя правильно, то со мной беды не случится. Цена этой защиты — моральная распродажа жертв: изнасилованная «сама виновата», разорённый «сам не доглядел», сгинувший «что-то натворил». Искажение удобно, как домашние тапочки, и столь же незаметно надевается.

Четвёртое — конформность как дефолт, о котором уже говорилось по Ашу [25]. Добавим только следствие: большинство норм человек выполняет не потому, что оценил, а потому, что оценили окружающие. Это экономит энергию и поддерживает мир в группе. Это же делает любую группу конвертируемой: поменяй освещение, вожака и репертуар — и вчерашний порядочный человек будет делать вещи, о которых вчера не смел думать. Следующая глава посвящена именно этому переходу; здесь зафиксируем лишь принцип: мораль в большинстве случаев — это не то, что человек решил, а то, что человеку показали, плюс страх оказаться вне круга.

Вот и вся машинерия. Датчик дыма, привитая фобия, пустой ярлык «свой/чужой», боль отвержения, ужас смертности, конвейер виноватых и справедливый мир в тапочках. Дальше философы — они разглядели эту машину задолго до лабораторий, одними глазами и пером, и до сих пор непонятно, что удивительнее: их точность или то, как упорно мы делаем вид, что это про кого-то другого.

3. Философский слой

3.1. Гоббс: страх как первый политолог

Томас Гоббс пережил гражданскую войну в Англии — ту самую, где недавние соседи резали друг друга за короля, парламент и веру, — и в 1651 году издал «Левиафана», книгу, которую до сих пор читают со смешанным чувством восхищения и озноба [31]. Вопрос Гоббса прост: что такое человек без власти над ним? Ответ Гоббса неприятен: «война всех против всех», и жизнь человека в таком состоянии — «одинокая, бедная, противная, тупая и короткая». Не потому, что люди злы — Гоббс тоньше моралиста, — а потому, что они равны в уязвимости: самый слабый может убить самого сильного — во сне, ядом, заговором, — и потому каждый вынужден опасаться каждого, а опасаясь, нападать первым. Превентивное насилие, по Гоббсу, — не порок, а логика страха.

Выход, который предлагает Гоббс, знаменит: люди уступают права единой власти — Левиафану, — потому что защита от внезапной смерти стоит дороже свободы. Заметь: у Гоббса государство строится не на любви к порядку и не на божьей воле, а на страхе — страхе друг перед другом, переведённом в страх перед сувереном. Власть легитимна ровно настолько, насколько умеет быть самой страшной из угроз в округе — и тем самым отменять все остальные. С тех пор политическая мысль либо развивает это, либо изо всех сил делает вид, что это неправда. Но всякий раз, когда государство исчезает — войной, распадом, катастрофой, — на его месте, как по команде, разворачивается гоббсовский сценарий, и соседи вспоминают, что когда-то хранили топоры.

3.2. Макиавелли: инженер страха

Никколо Макиавелли написал «Государя» примерно в 1513 году, после собственного ареста и пыток — человек, которого вешали, опустив за верёвку связанные руки, имеет право на пессимизм [32]. В семнадцатой главе стоит фраза, за которую его ругали пять веков: государю лучше быть любимым и боявшимся одновременно, но если выбирать — безопаснее, чтобы боялись. Любовь держится на обязательстве, которое люди нарушают при первой выгоде; страх держится на боязни наказания, которая не покидает никогда.

Макиавелли обычно читают как апологета подлости, а он, строго говоря, инженер. Он описывает не то, как должно, а то, как работает: страх — ресурс власти, точнее её валюта, и обращаться с ним надо по правилам — дозированно, предсказуемо, не путая с ненавистью (ненависть подданных, предупреждает он, опасна: вот отнять имущество — забудут скорее, чем обиду и унижение). Разница между тиранией и устойчивым правлением у Макиавелли — не моральная, а техническая: устойчивая власть пугает по расписанию и не пугает зря. Через две главы этой книги мы увидим, до какой точности довели эту инженерию XX век; пока отметим, что формула «страх — дешёвая и надёжная облигация власти» была выписана ещё чернилами по бумаге, и с тех пор не опровергнута ничем, кроме благопожелательств.

3.3. Ницше: мораль как месть слабых

Фридрих Ницше в «К генеалогии морали» (1887) совершает с привычной картиной мира то, что в этой книге называется вскрытием [33]. Его вопрос: откуда взялись сами слова «добро» и «зло»? Ответ — генеалогия, не для слабонервных: изначально «хорошим» себя называл сильный, знатный, победивший, а «плохим» — слабый и низкий; потом слабые, не в силах победить, совершили переворот в словах: сила объявлена злом, а бессилие — добродетелью. Мораль смирения, жалости, послушания — это, по Ницше, «мораль рабов», родившаяся из *ressentiment* — затаённой ненависти бессильного к сильному, переплавленной в систему ценностей, где бессилие выгодно.

Можно спорить с Ницше исторически — и историки спорят. Но как оптика его генеалогия бьёт точно: ценности, которые группа объявляет святыми, подозрительно часто совпадают с интересами тех, кому они выгодны. Смирение удобно тем, кто не может взять силой. Верность удобна тем, кому хранят. Щедрость удобна тем, кто просит. Ницше не отменяет мораль — он отменяет её невинность. И в контексте этой главы важно следствие: если мораль родилась из страха и слабости, а не с небес, то с нею можно обращаться как с инструментом — изучать, чинить, менять. Но тогда же пропадает гарантия, что мораль защитит от зла: инструмент защищает того, в чьих он руках.

3.4. Жирар: козёл, который несёт грехи

О Рене Жираре уже шла речь в историческом слое [13]; здесь он нужен как философ единой мысли, которую он полировал всю жизнь: человеческое общество держится на жертве. Не метафорически — механически: насилие, копящееся внутри группы, должно выйти наружу, и самый экономный способ — вывести его через одну фигуру, единодушно признанную виноватой. Единодушие в расправе склеивает расколотую группу прочнее любого договора. Поэтому жертва священна: она — носитель выкачанного из общества зла, и культы, мифы и ритуалы архаики — это, по Жирару, окаменевшие свидетельства той первой расправы, пересказанные так, чтобы не вспоминать, что именно произошло.

Острая мысль Жирара для нашей темы: всякий социальный порядок, восстановленный через козла отпущения, работает — но платит невинным. И пока механизм скрыт, он повторяется; обнажение механизма — Жирар видел его в тех текстах, где жертва вдруг получает голос, — подрывает его эффективность. Общество, которое поняло, что оно делает с козлами, уже не может делать это так же благонадёжно. Знание — единственный антидот, который эта книга готова предложить не морщась. Но знание горькое: поняв механизм, ты не становишься добрее автоматически. Ты просто теряешь право говорить, что не знал.

3.5. Беккер: бессмертие как валюта

Эрнеста Беккера мы уже цитировали в психологическом слое [27], но его место и здесь, потому что «Отрицание смерти» — философская книга, случайно подтверждённая экспериментами. Схема Беккера: существо, осознающее свою смертность, строит «проект героизма» — любой способ почувствовать себя первичным в мироздании, а не кормом для червей. Культура поставляет готовые проекты: святость, слава, состояние, династия, идея. Люди скупают их по любой цене, потому что альтернатива — голый ужас.

Из схемы Беккера следует холодный вывод, который понадобится нам при разговоре о власти: тот, кто контролирует выдачу символического бессмертия, контролирует людей надёжнее, чем тот, кто контролирует хлеб. За место в истории, за звание, за «правильную» веру люди отдавали и отдают жизни — собственные и чужие. Эксперименты с напоминанием о смертности [28] показали, что даже тонкое напоминание о смертности сдвигает суждения, а история показывает, что грубое напоминание — война, эпидемия — сдвигает целые общества: к фундаментализму, к охоте на ведьм, к покорности. Смерть — топливо; у каждой эпохи свои заправки.

Сведём философский слой в одну строку. Гоббс: порядок — это страх, поставленный на службу. Макиавелли: страх — инструмент, требующий инструкции. Ницше: мораль — родословная, у которой низкое происхождение и хороший пиар. Жирар: мир в группе покупается ценой жертвы. Беккер: вся эта конструкция нацелена на один враг, которого нельзя победить, — на знание о конце. Пять веков мысли, пять разных языков — один диагноз. Можно считать его цинизмом. Можно, как эта книга, считать его рентгеном: снимок не назначает лечение, но и лечить вслепую — так себе стратегия.

4. Кейс-разбор: Страсбург, февраль 1349 года

Всё, что до этого места звучало теорией, — страх, детектор виноватых, козёл отпущения, управляемая расправа, — однажды сложилось в единый механизм и сработало в масштабе континента. Разберём этот случай до костей, потому что он идеален: даты известны, мотивы видны, хроники сохранились, а вывод — тот, что после него становится очень тихо.

4.1. Входные данные

В 1347 году в Европу пришла чума. Скорее всего — бубонная, вызванная бактерией *Yersinia pestis*; детали маршрута и доли погибших историки и биологи уточняют до сих пор, но оценки сходятся в ужасающем: за несколько лет умерло от трети до половины населения Европы [34]. Это трудно вообразить. Представь, что из твоего дома вынесли каждого второго. Из твоей улицы. Из твоего города. За считанные месяцы, без объяснения, без лекарства, без прогноза. Монастыри вымирали целиком, потому что монахи ухаживали за умирающими. Священники умирали первыми, потому что исповедовали. Поля оставались некошеными, потому что некому было косить. И — критически важно для нашего разбора — медицина той эпохи не могла ответить не только на вопрос «как лечить», но и на вопрос «почему». Не было ни микроба, ни крысы, ни блохи. Было наказание — чьё-то. Всегда чьё-то.

Вспомним детектор агентности из психологического слоя: психике дешевле видеть намерение, чем случайность, потому что с намерением можно разделаться [3]. Теперь подай на вход этого детектора смерть каждого второго соседа — и прикинь мощность на выходе. Европа 1348 года была машиной по поиску виноватых, работающей на полную мощность. Кандидатуры нашлись быстро: сначала обвиняли прокажённых — их гнали и жгли ещё до основной волны; потом обвинение сконцентрировалось на тех, кто был в каждом городе своим чужим, — на евреях [34].

4.2. Конструкция обвинения

Обвинение было готовым и старым — это принципиально: паника не изобретает новых виноватых, она достаёт из кладовой старых. Еврейские общины жили в европейских городах веками, существуя в странном статусе: нужные — как ростовщики при запрете церкви на процент для христиан, — и отделённые: кварталом, одеждой, законом, языком подозрений. К 1348 году антисемитские обвинения имели почтенный возраст: уже были ритуальные наветы, были сожжённые общины, был опыт изгнания из Англии в 1290 году [35]. Кладовая, как видишь, была полная.

Версия была такова: чума — это отравленные колодцы, а отравили их евреи по велению тайного заговора, с посольством, с порошком, с составом, описанным на допросах. Допросы были — под пыткой, и признания, полученные на дыбе, историки читают именно как признания, полученные на дыбе: в Шиньоне, в Савойе, пытанные «подтверждали» состав порошка и маршруты посыльных, после чего бумага становилась «доказательством» и ехала по городам дальше [34]. Заметь инженерную красоту: пытка производит признание, признание производит документ, документ производит уверенность в следующем городе. Самоподпитывающаяся фабрика фактов. Мы ещё встретим её — в других эпохах, на других материалах; станок старый.

Были и голоса против, и это важно зафиксировать, чтобы не превратить разбор в сказку про всеобщее помешательство. Папа Климент VI в 1348 году издал буллу, в которой прямо писал: обвинение евреев в чуме нелепо, чума бьёт и по евреям тоже, и тех, кто их режет, ждёт отлучение [36]. Были городские советы, которые пытались защищать «своих» евреев — не из нежности: из интереса, о нём ниже. Голоса разума были. Проблема в акустике: у разума тихий голос, у страха — рупор.

4.3. Страсбург: как это работает на практике

Страсбург — крупный, богатый город на Рейне, с сильной еврейской общиной и, что существенно, с долгами этой общине у доброй половины города. В конце 1348 года городские власти ещё защищали евреев: аристократический совет даже сместил бургомистра и мастеров цехов, которые требовали погрома. Тогда цеха устроили политический переворот по правилам: сместили совет, посадили своих — и через считанные дни после смены власти участь общины была решена [35].

14 февраля 1349 года — в день святого Валентина, календарь тоже умеет в сарказм, — евреев Страсбурга согнали на еврейское кладбище и сожгли в построенном для этого деревянном доме. По разным оценкам погребено около тысячи человек, цифры в источниках плавают; тех, кто согласился креститься — в основном детей, — пощадили [35]. Это была не стихия толпы, запомни: это была логистика. Место выбрано, дом построен, охрана выставлена, имущество описано. Долги, как водится, аннулированы тем, кто должен. Механизм козла отпущения работает чище, когда у расправы есть бухгалтерия: страх даёт энергию, выгода даёт маршрут.

Страсбург не был исключением — он был образцом. В январе 1349-го общину сожгли в Базеле — в деревянном сооружении на острове посреди Рейна, по хроникам; детей увели и крестили. Летом и осенью волна прошла по Майнцу, Кёльну, Эрфурту и десяткам меньших городов; в Майнце община сопротивлялась и погибла почти вся, в Эрфурте горожане громили квартал и жгли вместе с домами [35]. Общее число уничтоженных за те годы общин исчисляется сотнями. В тех местах, где власть держалась твёрдо — как в Авиньоне при том же Клименте VI, — общины выживали. Урок акустики: там, где «рупор» был занят государством, страх оставался без мегафона.

4.4. Разбор механизма по винтикам

Теперь — самое важное. Не «как ужасно», а «как устроено». Винтик первый: неконтролируемый ужас — чума, смерть каждого второго, ноль объяснений. Винтик второй: детектор агентности требует намерения, детектор справедливого мира требует виноватого — значит, виноватый будет найден, вопрос только в кандидатуре. Винтик третий: кандидатура берётся не с потолка, а со склада — тот, кто уже был «чужим внутри», уже носил ярлык, уже был описан в старых обвинениях. Винтик четвёртый: фабрика доказательств — пытка, признание, документ, распространение. Винтик пятый: выгода — долги, имущество, власть цехов; страх без выгоды жжёт, страх с выгодой жжёт веселее и дольше. Винтик шестой: ритуализация — не резня в переулках, а казнь с процедурой, превращающая убийство в санитарную меру, почти в благочестие. Винтик седьмой: единодушие — расправа склеивает расколовшийся от ужаса город в единое тело, и после костра людям действительно «полегчало»; Жирар объяснял, почему [13].

А теперь — панорамный вид, и здесь держись за перила. Ни один из семи винтиков не требует ни злодеев, ни дурмана, ни особой эпохи. Нужны: неконтролируемая угроза, склад старых ярлыков, желающие навариться и отсутствие власти, которая скажет «нет». Эпидемию заменит кризис, чуму — что угодно ещё, костёр — современный аналог, и конструкция соберётся заново, за недели, как у Шерифа в лагере [5]. Страсбург 1349 года — не про Средневековье. Он про нас, просто снятый на дальнем фокусе. Утешение, которое полагается в этом месте по канону, читателю этой книги не положено: канон мы отменили на первой странице.

Но одно наблюдение всё же оставим — не утешение, а инструмент. Единственная разница между городом, который сжжёт своих чужих, и городом, который не сжжёт, — это винтик номер ноль: кто-то, у кого есть власть, сказал «нет» раньше, чем страх нашёл мегафон. Климент VI не вылечил чуму и не убедил Европу. Он просто закрыл свой участок. Механизм гаснет не добротой — решением. Это не оптимизм, это чертёж.

5. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА

Здесь полагается блок без украшений. Вот он.

Мораль — это не голос свыше и не врождённая чистота. Мораль — это система предохранителей, которую смертельно напуганное существо установило внутри группы, чтобы группа не перерезала сама себя. Не лги, не убей, не укради, сдержи слово, пожалей слабого — каждая норма, если развернуть её назад в историю, упирается в расчёт выживания: внутри круга выгоднее мир, чем война, а честность — лучшая долгосрочная стратегия, пока все помнят всех. Число Данбара, круг «своих», стыд, сплетня, остракизм — вот казна, из которой оплачена твоя совесть [4][26].

Это не значит, что мораль фальшивая. Это значит, что она — инструментальная. Инструменты прекрасны: мост тоже инструмент, и он несёт тебя над пропастью. Но инструмент молчит о том, что будет, если его сломать, — а ломается он быстро: три недели в лагере Шерифа, одна смена власти в Страсбурге, одна эпидемия. Твоя уверенность в том, что «со мной такого не случится», — это не факт о тебе. Это факт о твоём нынешнем уровне безопасности, сытости и принадлежности к кругу. Убери один из трёх — и уверенность сдуется, как показал каждый эксперимент, который пытался её измерить [24][25][28].

И самое неудобное. Если страх исчезнет завтра — совсем, по волшебству, — то исчезнет не только трусость. Исчезнет предохранитель. Не будет причины сдерживать слово там, где никто не видит; не будет остракизма, которым группа наказывает предателя; не будет стыда, этой домашней тюрьмы с человеческим лицом; не будет богов, которые «всё видят», и совести, которая вежливо их дублирует. Чистота без страха — это святость, а святых статистически нет; остальных держит именно связка страхов — наказания, позора, изгнания, смерти. Поэтому вопрос главы — «что останется от твоей морали без страха?» — не риторический. Он инвентаризационный. Пройдись по собственным принципам и отметь, какие из них — выбор, а какие — страх с хорошим пиаром. Список будет короче, чем хотелось бы. У всех короче. В этом и состоит диагноз, который никто не любит получать, хотя он — не приговор: инструмент, понятый как инструмент, держится в руках крепче, чем иллюзия, принятая за сущность.

6. Ироничная пауза. Совещание у костра

Представь совещание. Пещера, костёр, совет старейшин, год условно доисторический. Повестка: стабильность.

Старейшина первый предлагает отменить вражду с соседним племенем: резонно отмечает, что ресурса хватит на всех, если считать. Его перебивает старейшина второй, тот, что посвежее: вражду отменять нельзя, потому что чем ещё объяснять неурожай? Без чужих у костра придётся объяснять неурожай старейшинами, а это, между прочим, уже говорит о незрелости предложения.

Старейшина третий вносит рацпредложение: изобрести бога. Бог решает сразу три задачи: объясняет гром (не наша вина), обещает продолжение после смерти (не просите сейчас) и главное — всё видит, включая то, что не видит старейшина. Дёшево, сердито, масштабируется. Совет одобряет единогласно, кроме старейшины первого, который спрашивает, не опасно ли давать невидимому надзирателю неограниченные полномочия без срока. Старейшину первого за это объявляют нарушителем традиции, и, поскольку традицию он нарушил первым, камнями забивают именно его — в назидание и для сплочения. Сплочение, надо признать, достигается мгновенно: все участвуют, все свои, все — в одном кругу.

Так, по давно установившейся легенде, на свет появилась первая государственная политика. Легенда не подтверждена археологически, но совпадает с ней в деталях.

7. Иллюстрации

Илл. 1. «Ветка».Тёмная гравюра, светотень в духе старой резцовой доски. Ночная саванна: силуэт существа, наполовину человек, наполовину зверь, застыл у кромки травы. В темноте за его спиной — не леопард, а огромный глаз, составленный из множества маленьких глаз поменьше. Композиция строится на диагонали от трещины в ветке внизу к глазу вверх. Свет — только от костра где-то далеко слева, узкий, красноватый.

Илл. 2. «Круг».Гравюра: костёр, вокруг — плотный круг лиц, освещённых снизу; каждое лицо наполовину доброе, наполовину звериное. За кругом, в темноте, стоят такие же фигуры, спиной к зрителю, лицом к костру, но круг их не пускает — между спинами освещённых нет ни щели. В центре костра, если приглядеться, горит не дерево, а переплетённые руки. Стиль — тёмная графика, плотный штрих, почти чёрный фон.

Илл. 3. «Козёл».Козёл, стоящий на задних ногах на краю пустынного обрыва; на его спине — город в миниатюре: домики, колокольни, люди, — все спят. С морды козла свисает цепь, другой конец которой держит множество рук, выходящих из тьмы слева. Небо — гравированные тучи с единственным разрывом света над обрывом. Аллегория без подписей: всё сказано композицией.

Илл. 4. «Сигнализация».Анатомическая гравюра в стиле старых атласов: раскрытый череп, а внутри вместо мозга — городская пожарная вышка XVIII века, и на ней — крошечный наблюдатель с подзорной трубой, смотрящий не вдаль, а внутрь, на зрителя. Внизу гравюры лента с девизом на латыни: «Primus in orbe deos fecit timor» — «Страх первым создал богов в мире».

8. Финал. Вопрос-переворот

Эта глава началась с ветки в темноте. Закончим честно: та ветка трещит до сих пор — в новостях, в лифте, в коридоре у кабинета начальника, в сводках. Сигнализация, которая спасла предка, не знает, что предка давно нет, и продолжает спасать нас по расписанию, в основном от воображаемого, изредка — от реального, и каждый раз одинаково громко.

Поэтому финальный вопрос — тот, что обещан в начале, только теперь он звучит иначе, потому что за ним уже стоит вскрытие: **если завтра исчезнет страх — что останется от твоей морали?**

Не спеши с ответом. Ответ «всё останется, я не такой» — это голос круга своих, успокоительное похлопывание по плечу, и мы уже видели, во что оно превращается в Страсбурге. Ответ «ничего не останется» — цинизм, а цинизм — это страх, надевший броню интеллекта: тоже укрытие. Честный ответ неудобнее обоих: останется ровно то, что было выбрано, а не внушено, — и чтобы узнать размер этой суммы, придётся разобрать собственную кассу. Книга, которую ты держишь, — не кассовый аппарат и не утешение. Она — скальпель. Следующая глава — о втором фундаментальном голоде, голоде буквальном, и о том, что он строит ещё надёжнее, чем боги.

Смотри внимательно. Дальше будет менее приятно.

Сноски к главе 1

[1] Об устройстве миндалевидного тела и древности механизмов страха: LeDoux J. *The Emotional Brain*. N.Y.: Simon & Schuster, 1996; Panksepp J. *Affective Neuroscience*. N.Y.: Oxford University Press, 1998.

[2] Модель «высокой» и «низкой» дороги страха: LeDoux J. *The Emotional Brain*. N.Y.: Simon & Schuster, 1996.

[3] «Принцип дымового датчика»: Nesse R. M. *The Smoke Detector Principle* // *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2001. Vol. 935.

[4] Число Данбара и корреляция неокортекса с размером группы: Dunbar R. I. M. *Neocortex size as a constraint on group size in primates* // *Journal of Human Evolution*. 1992. Vol. 22; Dunbar R. *Grooming, Gossip and the Evolution of Language*. L.: Faber & Faber, 1996. Точность цифры оспаривается; порядок величины воспроизводится.

[5] Летний лагерь в Оклахоме («Пещера грабителей»): Sherif M., Harvey O. J., White B. J., Hood W., Sherif C. *Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment*. Norman: University of Oklahoma, 1961 (полевая фаза — 1954).

[6] «Порядок клевания» у кур: Schjelderup-Ebbe T. *Beiträge zur Sozialpsychologie des Haushuhns* // *Zeitschrift für Psychologie*. 1922. Bd. 88.

[7] Иерархия и гормоны стресса у павианов; хронический стресс: Sapolsky R. M. *A Primate's Memoir*. N.Y.: Scribner, 2001; Sapolsky R. *Why Zebras Don't Get Ulcers*. N.Y.: W. H. Freeman, 1994.

[8] Эци: находка 1991 года (Эцтальские Альпы), датировка ок. 3300 г. до н. э.; наконечник стрелы выявлен при рентген- и КТ-обследовании в 2001 году: Spindler K. *The Man in the Ice*. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1994; результаты обследований широко публиковались, в т. ч. Pernter P. et al. // *Journal of Archaeological Science*, 2007.

[9] Джебель-Сахаба (Судан): раскопки Ф. Вендорфа, 1960-е; повторный анализ ранений: Crevecoeur I. et al. *New insights on interpersonal violence in the Late Pleistocene based on the Nile valley cemetery of Jebel Sahaba* // *Scientific Reports*. 2021. Vol. 11. Датировки варьируют (примерно 11–14 тыс. лет).

[10] «Яма смерти» Тальхайма (Германия), ок. 5000 г. до н. э., раскопана в 1983–1984 гг.: Wahl J., König H. G. *Anthropologisch-traumatologische Untersuchung der menschlichen Skelettreste...* // *Fundberichte aus Baden-Württemberg*. 1987. Bd. 12.

[11] Статистика догосударственного насилия: Keeley L. H. *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*. N.Y.: Oxford University Press, 1996. Выводы дискуссионны; ср.: Fry D. P. *The Human Potential for Peace*. N.Y.: Oxford University Press, 2006.

[12] «Четырёхлетняя война» шимпанзе в Гомбе (1974–1978): Goodall J. *The Chimpanzees of Gombe*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

[13] Миметическое желание и механизм козла отпущения: Girard R. *La Violence et le sacré*. P.: Grasset, 1972; Girard R. *Le Bouc émissaire*. P.: Grasset, 1982.

[14] Козёл отпущения: Книга Левит, гл. 16; о фармакозе: Burkert W. *Structure and History in Greek Mythology and Ritual*. Berkeley: University of California Press, 1979.

[15] О жертвоприношениях в Месоамерике масштабы оспариваются: сопоставление испанских хроник (Диаз дель Кастильо Б. *Истинная история завоевания Новой Испании*) и археологии Темпло-Майор (López Luján L. *The Offerings of the Templo Mayor of Tenochtitlan*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005).

[16] Вергельд: «Салическая правда», запись начала VI в.; рус. пер.: Салическая правда / пер. Н. П. Грацианского. М.: Госюриздат, 1950.

[17] Ранние захоронения: Кафзех и Схул (ок. 90–100 тыс. лет), Сунгирь (ок. 34 тыс. лет); «цветочная» гипотеза Шанидара оспорена: Sommer J. D. The Shanidar IV «flower burial»: a re-evaluation... // Cambridge Archaeological Journal. 1999. Vol. 9(1).

[18] «Primus in orbe deos fecit timor» — строка, традиционно приписываемая Петронию (фр. 27) и Стацию («Фиваида», III, 661); Лукреций. О природе вещей, кн. I, V (о страхе как источнике религии и несчастий).

[19] Фейербах Л. Сущность христианства. 1841; Фейербах Л. Лекции о сущности религии. 1851 (страх как психологический корень религии).

[20] Фрейд З. Будущее одной иллюзии. 1927; Фрейд З. Недовольство культурой. 1930.

[21] «Морализирующие боги» и большие общества: Norenzayan A. Big Gods: How Religion Transformed Cooperation and Conflict. Princeton: Princeton University Press, 2013. Гипотеза активно обсуждается.

[22] Восприятие рисков и «эвристика аффекта»: Slovic P., Finucane M. L., Peters E., MacGregor D. G. The affect heuristic // European Journal of Operational Research. 2007. Vol. 177(3).

[23] «Маленький Альберт»: Watson J. B., Rayner R. Conditioned emotional reactions // Journal of Experimental Psychology. 1920. Vol. 3(1). Идентификация ребёнка как Дугласа Меррита: Beck H. P., Levinson S., Irons G. // American Psychologist. 2009. Vol. 64(7); оспаривание версии: Powell R. A. et al. // History of Psychology. 2014. Vol. 17(4).

[24] Минимальные группы: Tajfel H., Billig M., Bundy R., Flament C. Social categorization and intergroup behaviour // European Journal of Social Psychology. 1971. Vol. 1(2).

[25] Конформность: Asch S. E. Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments // Groups, Leadership and Men. Pittsburgh: Carnegie Press, 1951.

[26] Социальная боль и отвержение (кибермяч): Eisenberger N. I., Lieberman M. D., Williams K. D. Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion // Science. 2003. Vol. 302.

[27] Беккер Э. Отрицание смерти. N.Y.: Free Press, 1973 (Пуллитцеровская премия 1974, посмертно).

[28] Теория управления ужасом: Greenberg J., Pyszczynski T., Solomon S. The causes and consequences of a need for self-esteem... // Public Self and Private Self. N.Y.: Springer, 1986; исследование судей: Rosenblatt A., Greenberg J., Solomon S., Pyszczynski T., Lyon D. Evidence for terror management theory: I. The effects of mortality salience on reactions to those who violate or uphold cultural values // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 57(4).

[29] «Плохое сильнее хорошего»: Baumeister R. F., Bratslavsky E., Finkenauer C., Vohs K. D. Bad is stronger than good // Review of General Psychology. 2001. Vol. 5(4).

[30] Вера в справедливый мир: Lerner M. J. The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion. N.Y.: Plenum Press, 1980.

[31] Гоббс Т. Левиафан. 1651, гл. XIII, XVII (о «войне всех против всех» и страхе внешней смерти как основании общего договора).

[32] Макиавелли Н. Государь. Написан ок. 1513, издан 1532, гл. XVII («о жестокости и милосердии и о том, что лучше: быть любимым, чем feared» — в общепринятом чтении: «чем внушать страх, или наоборот»).

[33] Ницше Ф. К генеалогии морали. 1887 (о «морали господ» и «морали рабов», ressentiment).

[34] Чума 1347–1353 гг. и поиск «виновных»; оценки смертности — от трети до половины населения Европы: Cohn S. K. The Black Death Transformed: Disease and Culture in Early Renaissance Europe. L.: Arnold, 2002; Benedictow O. The Black Death 1346–1353: The Complete History. Woodbridge: Boydell Press, 2004.

[35] Погромы времён Чёрной смерти (Базель, Страсбург — 14 февраля 1349, Майнц, Эрфурт, Кёльн): Cohn S. K. Pursuit of the Millennium. L.: Oxford University Press, 1970; Nirenberg

D. Communities of Violence. Princeton: Princeton University Press, 1996. Числа погибших в хрониках расходятся; порядок — сотни и тысячи по городам.

[36] Буллы Климента VI 1348 г. (Sicut Judeis и связанные акты) о недопустимости обвинений евреев в распространении чумы: цит. по: Cohn S. K. The Black Death Transformed. L.: Arnold, 2002.

Конец главы 1 из 12.

ГЛАВА 2. ГОЛОД СТРОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОГ

Я вскрываю то, о чём не принято говорить. Комфорт здесь не предусмотрен.

Дефицит: голод придумал собственность, закон, брак, войну; зернохранилище как зародыш государства; распределение = власть; голод как оружие; голод и мораль.

Вопрос главы: сколько дней голода отделяет тебя от твоих принципов?

Открытие. Инвентарная опись

Начнём не со сцены, а с документа. Документ скучный, как все документы, которые решают судьбы.

Междуречье, конец четвёртого тысячелетия до нашей эры. Город Урук — грязь, кирпич, сто тысяч человек, если верить оценкам, которым верить трудно, но других нет. На глиняной табличке размером с ладонь выдавлены знаки: зерно. Столько-то мер. Такому-то человеку. Из такого-то хранилища. Под чужим глазом, под чужой печатью [1]. Это не письмо, не поэма, не молитва. Это — квитанция. Письменность, величайшее изобретение вида, который умеет говорить, родилась не ради «Гильгамеша» и не ради гимна богине. Она родилась ради учёта: кто сколько зерна сдал, кому сколько выдали, кто должен, кто получил. Поэзия придёт позже, как украшение фасада. Фундамент — бухгалтерия [1].

Задержи взгляд на этой табличке, она дорогого стоит. В ней — вся книга в миниатюре. Есть зерно — значит, есть излишек. Есть излишек — значит, есть тот, кто его сторожит. Есть сторож — значит, есть те, кто сторожу подчиняется. Есть учёт — значит, есть власть, потому что считать чужое можно только сверху. Осталось приделать к хранилищу бога — приделали, и очень быстро: храмы Шумера были не в последнюю очередь складами, а жречество — не в последнюю очередь складскими работниками с небесной крышей [2]. Порядок элементов в этой цепочке — главный вопрос главы. Нам привычно думать так: сначала люди построили общество, законы, веру, а потом в этом обществе научились запасать зерно. Материал говорит обратное: сначала зерно, потом всё остальное. Голод не спрашивает о морали. Голод молча вынимает ложку из твоих рук и объясняет: есть будешь то, что дали, и будешь благодарен. А твои внуки назовут это традицией.

В первой главе был вскрыт страх — фундамент. Теперь вскрываем второй слой, тот, что под фундаментом: дефицит. Страх — это реакция на угрозу; дефицит — сама угроза, её главная форма, её вечнозелёный эталон. Можно не бояться леопарда, если сыт. Нельзя не бояться пустого желудка, если он пуст. Поэтому голод строит больше, чем бог: богов придумал страх, а страх, если проследить его к самым корням, — существо, которое хочет есть и не уверено в завтрашнем дне. Бог — надпись на амбаре. Амбар старше надписи.

Эта глава длинная, и она неудобная. В ней придётся смотреть на вещи, которые принято обходить: на то, как из пустой миски вырастают собственность, закон, брак и война; на то, как власть учится держать людей не за сердце и не за убеждения, а за желудок; на то, что случается с принципами, когда еда кончается, — этот материал измеряли в лаборатории, добровольно, с согласия испытуемых, и результаты настолько неприглядны, что утешить читателя не получится даже при желании. Желания, как договорились, нет. Есть скальпель и есть тело. Разрезаем.

И последнее замечание перед разрезом — о том, почему эта глава вообще труднее первой. О страхе говорить легко: страх — про всех, страх романтичен, у страха есть ночь, ветка и леопард. О голоде говорить трудно, и не потому, что он страшнее. А потому, что он унижен. Страх возвеличивает — в страхе человек бежит, борется, выбирает; голод обесценивает — в голоде человек ждёт, просит, считает крошки. Мировая культура любит страх: ему посвящены эпосы, триллеры, памятники. Голод мировая культура обходит стороной, оставляя его отчётам комиссий и страницам, которые перелистывают. Заметь эту асимметрию — она сама по себе диагноз: вид вырезал из самопортрета самое постыдное — свою зависимость от миски. И потому почти всё, что построено голодом, носит вывески других мастерских: закон вывешен как справедливость, собственность — как свобода, брак — как любовь, раздача — как забота. Глава, которую ты держишь, снимает вывески. Под ними, как и пять тысяч лет назад, амбар. Не пугайся того, что узнаешь родные улицы. Узнавание — признак того, что скальпель попал.

1. Исторический слой

1.1. Дефицит как первый закон

Прежде чем говорить о голоде как архитекторе, надо снять с него ложный ореол исключительности. Голод — не сбой системы. Голод — заводская настройка мира.

Экономика, если стереть с неё пыль самомнения, начинается с простого признания: ресурсов всегда меньше, чем желаний. Это признание настолько базовое, что экономисты называют его редкостью, дефицитом — и строят на нём всю дисциплину. Но экономисты пришли поздно, за несколько миллионов лет до них этот закон знал каждый организм на планете. Калория — валюта биологии. Тот, кто тратил больше, чем находил, не оставил потомства; тот, кто находил больше, чем тратил, оставил потомство и жировую прослойку. Мы — потомки эффективных добытчиков калорий, и вся наша психика, от сладкого вкуса до отвращения к протухшему, — музей этой простой истины.

Теперь важный поворот, который понадобится дальше. О деятелях каменного века долго думали как о существах, вечно ковыряющих землю в поисках корешка, на грани голодной смерти. В 1966 году антрополог Маршалл Салинс выступил с докладом, потом вошедшим в книгу «Экономика каменного века» (1972), и перевернул картину: полевые данные по охотникам-собираателям XX века — бушменам, австралийским аборигенам, — собранные с подсчётом часов, показывали, что добыча еды занимает у них несколько часов в день, оставляя массу досуга. Салинс назвал это «первоначальным обществом изобилия» — изобилием не по вещам, а по времени [3]. С коллегами он спорил громко; критики указывали, что в подсчёты не входили часы на обработку и приготовление, что демография у собирателей своя, что голодные годы случались и выкашивали группы. Честная позиция — середина: собиратели не были обречёнными голодающими, но жили без подушки безопасности, и голод был для них визитом, который мог заявиться в любой сезон. Изобилие по времени, уязвимость по калориям.

Вот в этой уязвимости и спрятан ключ. Собираатель не может накопить: мясо портится, плоды гниют, всё доброе надо таскать на себе, а таскать на себе можно немного — особенно если у тебя кочевая жизнь и дети на руках. Запас у собирателя один — собственное тело, жир, несколько недель отсрочки. Дефицит у собирателя лечится одним способом: делиться. Добыча крупная — делится на весь лагерь, потому что иначе завтра, когда не повезёт тебе, не поделится с тобой. Антропологи называют это взаимностью, и она красива, как всё, что работает. Но заметь: взаимность — это не доброта, это страховка. Страховка, оформленная мясом. Норма «делись» — первая мораль, и у неё бухгалтерские корни: в группе, где все помнят, кто сколько приносил, делиться выгоднее, чем прятать. Первое известное нам общество держалось не на любви, а на распределении. С этого места начинается всё.

Потому что распределение — это двигатель, который дальше не остановится. Там, где есть что делить, есть кто делит. Там, где есть кто делит, есть разница между тем, кто делит, и тем, кому делят. Назовём её властью — слово придёт позже, функция уже здесь. Осталось только, чтобы появилось ЧТО-ТО, что можно хранить дольше сезона. И оно появилось. Оно называется зерном.

1.2. Как еда стала «моей»: рождение собственности

Около девяти с половиной тысяч лет до нашей эры — датируется радиоуглеродом, так что цифра стоит на твёрдом, — в поселении Дхра на территории нынешней Иордании люди построили странное сооружение: приподнятый пол на камнях, чтобы не тянуло сыростью, стены из глинобитных блоков, внутри — зерно диких злаков [4]. Археологи Ян Кейт и Билл Финлейсон, описавшие находку в 2009 году, назвали её тем, чем она является: зернохранилищем. И — внимание — построено оно до полноценного земледелия, в эпоху, когда люди ещё собирали дикое зерно. Сначала амбар, потом поле. Сначала хранилище, потом одомашнивание. Этот порядок — не мелочь, это вывеска над всей дальнейшей историей: идея «запастись» старше идеи «вырастить». Земледелие понадобилось амбару, а не наоборот.

Что меняет амбар? Всё, и за считанные поколения. Мясо и плоды не терпят собственности: то, что сгниёт через неделю, невозможно удержать — его можно только разделить или съесть. Зерно терпит. Зерно лежит год, два, ждёт. А то, что ждёт, можно присвоить. Появляется объект, который не портится, стоит жизни и занимает место, — и мгновенно возникают три новых вопроса, которых у собирателя не было: чьё? кто сторожит? кому выдают? На эти три вопроса отвечает вся дальнейшая цивилизация. Собственность — это не «мой топор», топор у охотника и так был свой. Собственность как система — это «моё зерно, которое я не ем», то есть отношение, защищённое от других силой или нормой. Там, где всё съедается сразу, система не нужна. Там, где лежит амбар, — без неё никак.

Земледелие повернуло винт. Собиратель привязан к сезону; земледелец привязан к участку. Участок нельзя свернуть и унести, как котёл. Участок надо охранять круглый год — от соседа, от стада, от чужой засухи, — и передавать детям, иначе вложенный труд пропадёт. Появляется наследование — не чувство, а логистика: кому достанется поле, тот и будет кормить стариков, вот и вся преемственность поколений. Появляется граница — не на карте империи, а межой между «моей бороздой» и «твоей». И появляется конфликт нового типа: за то, что стоит на месте и ждёт. У собирателей вражда была — мы видели это в первой главе, по костям и наконечникам. Но воевать за чужое зерно, за чужое поле, за чужой скот — за вещи, которые можно УВЕСТИ И УВЕЗТИ, — этот вид войны начинается с земледелием и скотоводством, потому что раньше попросту нечего было увести [5].

Не будем идеализировать то, что было до, и не будем демонизировать то, что стало после — книга не утешает, но и не драматизирует бесплатно. Земледелие дало излишек, а излишек дал всё, что ты любишь: города, письменность, астрономию, оперу, пенициллин. Но цена записана в костях — буквально. Палеопатология, наука о болезнях по скелетам, показывает устойчивую картину: первые земледельцы ниже ростом, хуже зубами, чаще болезнями и дефицитами, чем их предки-собиратели [6]. Причина скучная и страшная: монодиета. Собиратель ел сотни видов растений и животных; земледелец — в основном одну культуру, зерно, круглый год. Плюс тесные поселения, стаи людей и животных под одним крышом — рассадник инфекций, которых у кочевников не водилось. Плюс неурожай: собиратель при неудаче уходил в другое место, земледелец при неурожае умирал на месте — привязанный к полю и амбару. Палеопатологи Кларк Ларсен и его коллеги обобщили это жёстко: переход к земледелию в среднем ухудшил здоровье вида [6]. Прогресс, как видишь, шёл по костям. Он обычно так и идёт.

Так родилась собственность: не из жадности, как скажут позже моралисты, и не из божьего повеления, как скажут позже теологи, а из технических свойств зерна. Зерно лежит — значит, зерно чьё-то. Дальше нужны только два изобретения: тот, кто будет решать споры про «чьё», — и тот, кто будет отнимать долю за это решение. Первого назовут законом, второго — государством. Оба растут из амбара, как колос из зерна.

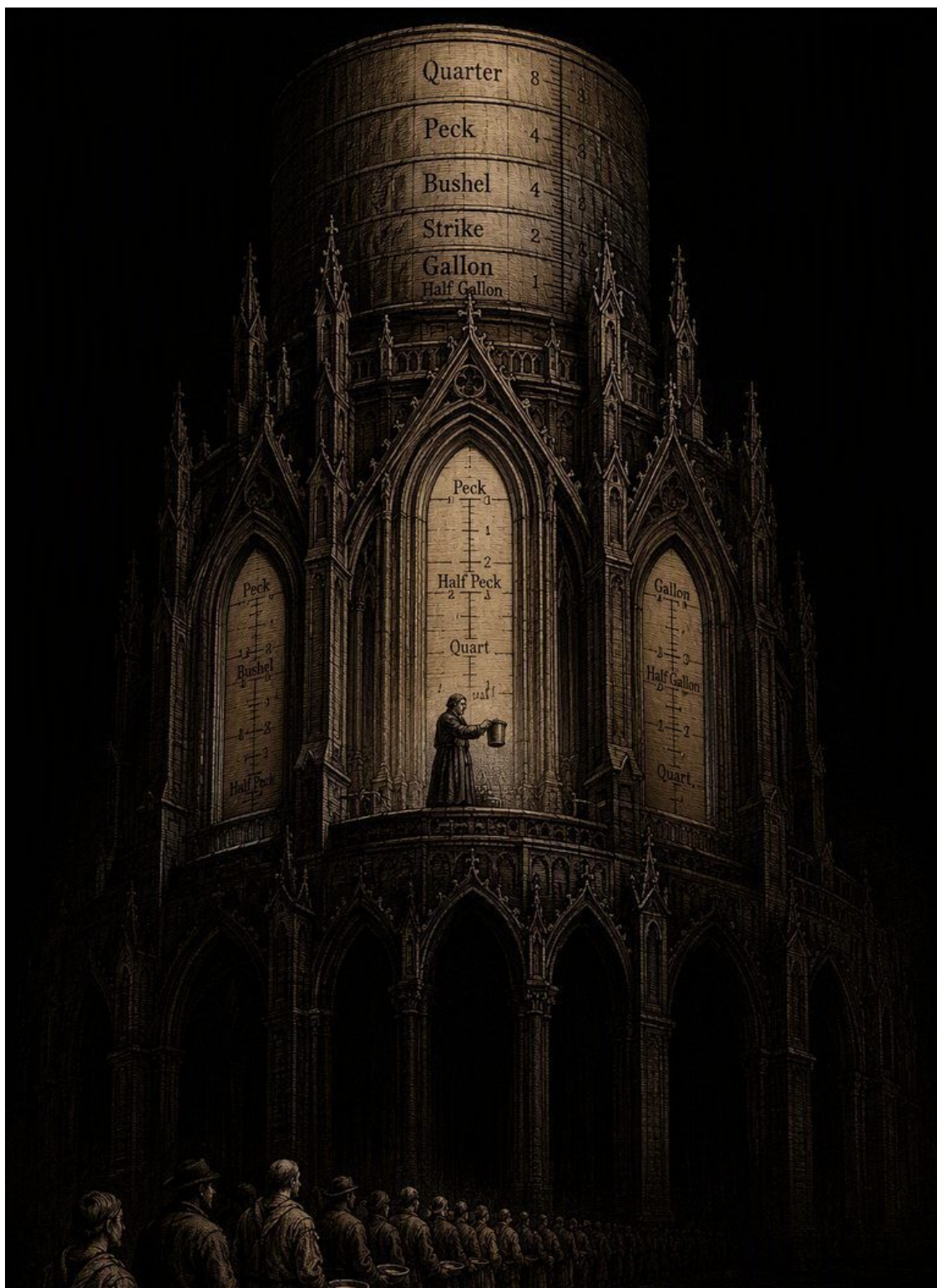
1.3. Зернохранилище — зародыш государства

Теперь самое важное место главы, то, ради чего всё остальное — опора. Почему государство вообще возникло? Теорий много: договор, завоевание, ирригация, война, вера. Все они ловят кусок правды. Но есть взгляд, который объясняет, почему государство возникло там, где возникло, и из чего, — и это взгляд зернологический, если позволительно такое слово.

Политолог и антрополог Джеймс Скотт в книге «Против зерна. Глубокая история самых ранних государств» (2017) задал вопрос, до которого мало кто додумался: почему все первые государства — Шумер, Египет, долина Инда, Китай династии Шан, Месоамерика — без исключения зерновые? Не мясные, не рыбные, не корнеплодные — зерновые [2]. Ответ Скотта гениально прост: налогу нужен товар с конкретными свойствами. Зерно растёт над землёй, зреет разом, в предсказуемый срок, хранится долго, делится точно, взвешивается и отмеряется. Казначей видит поле, знает срок жатвы, приходит в срок, отмеряет долю. Попробуй обложить налогом маниок — он зреет под землёй два года, выкапывается в любой день, хранится плохо: крестьянин выкопает ночью и съест, и казна останется с носом. Попробуй обложить скот — он убегает,дохнет и его прячут в лесу. Зерно не убегает. Зерно стоит и ждёт ассессора. Государство, по Скотту, — это машина по изъятию зерна, а всё остальное — армия, писцы, законы, храмы — навесное оборудование. Зерновые культуры не просто кормили первые государства. Они сделали их возможными: там, где нечего отмерить, нечего и конфисковать [2].

Смотри, какая получается цепочка — и сравни её с той, что тебе рассказывали в школе. Не «люди объединились для общего блага», а: зерно хранится → амбар надо стеречь → сторож берёт плату → плата требует учёта → учёт требует писцов → писцы требуют еды → еду даёт амбар. Кольцо замкнулось, машина самоподдерживающаяся. У шумеров эту машину обслуживал храм: огромные храмовые хозяйства Урука и Лагаша вели учёт зерна, скота, труда; жречество выдавало пайки, принимало подати, распределяло. Таблички из Урука — с которых началась эта глава — это, по сути, первые в истории ведомости [1]. Письменность изобретена не поэтом и не пророком. Письменность изобретена кладовщиком. И первый письменный памятник человечества — накладная.

Отсюда вытекает следствие, которое понадобится нам во всех следующих главах, — про природу власти. Власть над людьми в зерновом государстве — это прежде всего власть над запасом. Тот, у кого ключ от амбара, держит за горло всех, кто ест. Не метафорически — калорийно: пайка из хранилища есть факт телесный, выдача и удержание пайки есть рычаг, против которого бессильна любая риторика. Заметь: тирану не нужно убеждать. Тирану нужно распределять. Убеждение — роскошь более поздних эпох; первые десять тысяч лет управляли ложкой. И то, что мы сегодня называем социальными программами, пайками, пособиями, субсидиями, «мерками поддержки», — та же архаичная конструкция, отшлифованная: лояльность покупается раздачей, а раздача возможна там, где есть запас и ключ. Дальше, в психологическом слое, мы посмотрим, как эта конструкция работала в Риме, где её довели до искусства и называли хлебом и зрелищами. Пока зафиксируем главное: государство родилось не у алтаря и не у трона. Оно родилось у зерновой ямы. Алтарь и трон — пристройки.



Илл. 1. «Амбар-собор»

Илл. 1. «Амбар-собор». Зернохранилище, выстроенное как собор: у подножия — очередь с пустыми мисками, наверху — один с меркой.

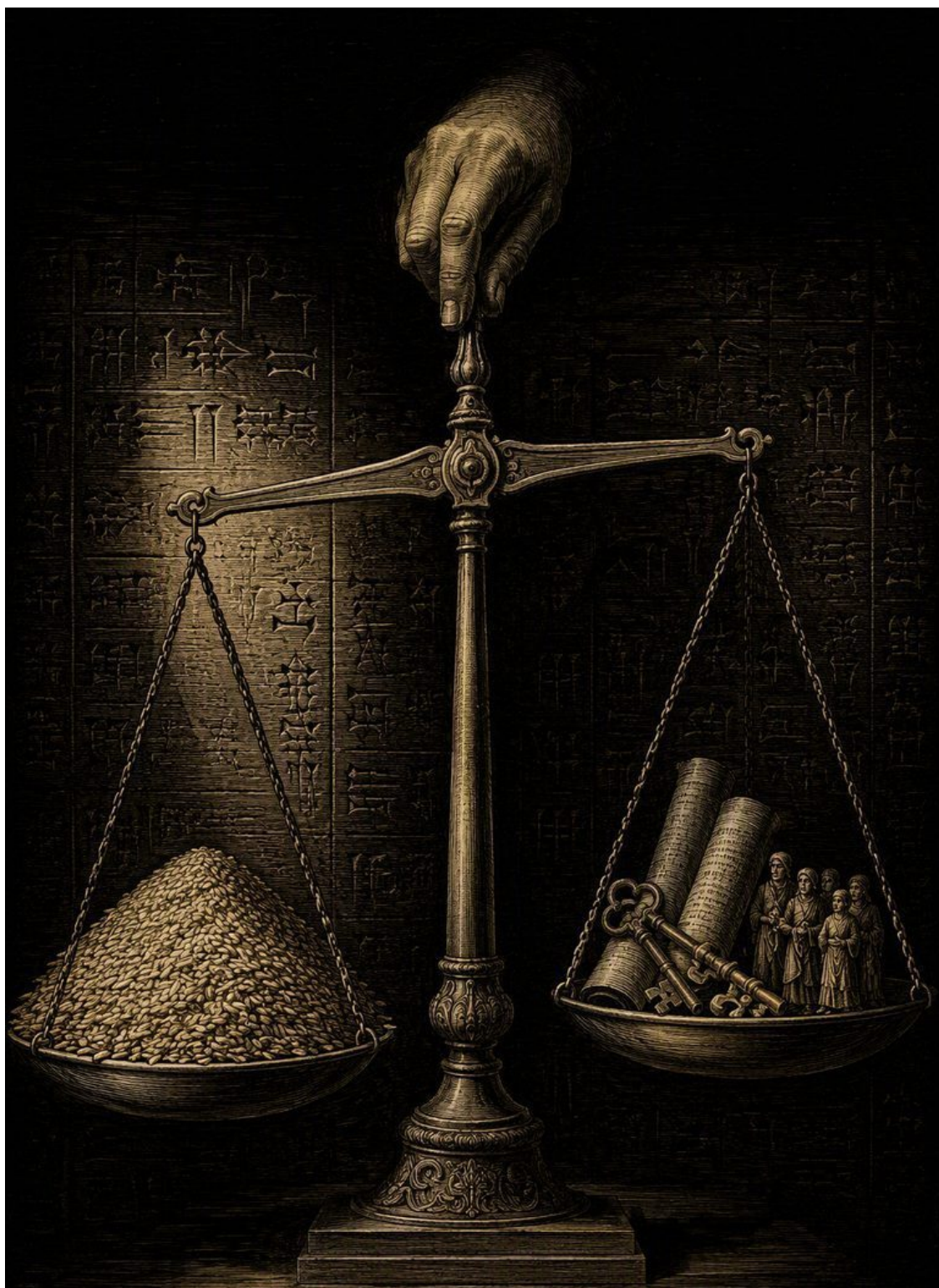
1.4. Закон: параграфы из глины

Где считают — там спорят. Где спорят — там нужен арбитр. Так из амбара растёт второй отросток: закон. И закон, что характерно, родился не абстрактным — «не убий», — а бухгалтерским: о мерах, весах, долгах и зерне.

Самый ранний из дошедших до нас сводов — законы шумерского царя Ур-Намму, начало XXI века до нашей эры, — уже оперирует компенсациями: серебро за увечье, серебро за сорванный брак, точные суммы за точные ущербы [7]. Через три с половиной века царь Хаммурапи издаёт свой свод — 282 параграфа на диоритовой стеле, около 1754 года до нашей эры, — и читать его поучительно именно с нашей, зерновой, точки зрения [8]. Огромная часть свода — о хозяйстве зернового мира: о найме пахаря и пастуха с точной платой в зерне, об аренде поля, об амбаре и краже из амбара, о ростовщике, который не вправе брать больше установленного процента зерном, о трактирщице, принимающей зерно по неверной мере. Параграф за параграфом — и вдруг в середине, почти буднично, правила о том, что бывает с должником: не отдал долг — отдай жену и детей в дом кредитора, работать. Не навсегда — на три года, гласит закон, на четвёртый отпустить [8]. Вот она, ранняя форма того, что позже назовут долговым рабством: голодное время проглотило запас — человек сам становится разменной монетой. Зерно не только кормит закон. Зерно определяет, сколько стоит человек.

Закон древнего мира вообще устроен как тарифная сетка — это поразительно для глаза, воспитанного на идее права как торжества абстракции. Салическая правда франков, начало VI века уже нашей эры, расписывает цену всего: жизнь свободного — двести солидов, раба — дешевле, епископа — девятьсот, украденная свинья — по возрасту свиньи [9]. Читатель вправе поморщиться: как так, жизнь — в строке со свиньёй? А вот так: закон в голодном мире — это не про справедливость, это про остановку крови. В первой главе об этом говорилось через вергельд: компенсация заменяет месть, тариф заменяет войну. Здесь добавим вторую функцию, зерновую: закон фиксирует меру. Весы и мера — священные предметы архаики не случайно; «кривые весы» в вавилонских и библейских текстах — синоним греха вообще [10]. Потому что мера — это доверие, а доверие в голодном мире — инфраструктура жизни: отмерил честно — накормил честно. Кривая мера крадёт не деньги, она крадёт калории. Поэтому рынок в древности начинался с храма и царского эталона веса — а не с «невидимой руки».

И последний штрих в этом разделе, без которого картина неполна. Долг в зерновом мире — вещь кровавая: неурожай, заём под семена, процент, потеря поля, долговая кабала, продажа детей — спираль известна по всем древним обществам. И вот что поразительно: Междуречье изобрело к этой спирали предохранитель. Раз в царствование, а то и чаще, царь объявлял «очищение» — *misharum*, акт восстановления справедливости: долги прощались, заложенные поля возвращались, кабальные отпускались [11]. Ассириологи знают эти эдикты хорошо; историк долга Дэвид Гребер сделал из них центральную линию своей книги «Долг: первые 5000 лет» [11]. Зачем царю прощать долги? Разве не выгоднее держать всех в кабале? Нет — и вот тут инженерия тонкая: кабала напрочь разоряет свободного земледельца, а свободный земледelec — это солдат и налогоплательщик, базис царства. Ростовщик, обескровив деревню, создаёт частную силу, конкурента трона. Царь, прощая долги, не добродетельствует — царь обрезаает конкурентов и чинит собственный станок. Прощение долгов — инструмент власти, древнейший из известных. Мораль тут ни при чём; амбар, как всегда, при всём. Запомни конструкцию: она ещё всплывёт — в разговоре о церкви, о банках, о современных долгах, которых эта книга касаться не будет, потому что машина и так видна до костей.



Илл. 2. «Весы»

Илл. 2. «Весы». На одной чаше — зерно, на другой — законы, ключи и люди. Зерно перевешивает.

1.5. Брак как хозяйственный договор

Останавливаемся ещё на одном здании, выросшем из амбара, — на самом нежном. О женщинах и браке впереди отдельная глава, пятая; здесь — только фундамент, только то, что сделал голод.

Поставь вопрос бухгалтерски: что происходит с наследством, когда появилось что наследовать? У собирателя наследство — котёл, лук и знание троп. У земледельца — поле, амбар, скот: капитал, от которого зависит, выживут ли внуки. И вот капитал порождает вопрос, которого у собирателя нет: кому передавать? А значит — чьи дети наследуют? А значит — откуда известно, чьи дети? В этой цепочке, как в цепочке домино, падает фигура женщины: контроль над наследованием требует контроля над отцовством, контроль над отцовством требует контроля над женщиной [12]. Фридрих Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» (1884) сформулировал это в духе своего века — соединив брак, собственность и государство в один узел; современная антропология к Энгельсу относится с оговорками, но сама связка «собственность → наследование → контроль над женщиной» оспаривается слабо [12].

Брак в голодном мире — не союз сердец, союз сердец придёт гораздо позже, вместе с романами и избытком. Брак в голодном мире — хозяйственный договор между семьями: выкуп невесты в одних культурах, приданое в других, во всех — точный расчёт, кто сколько еды, земли и рабочих рук приносит в союз. У Хаммурапи брак оформляется контрактом: нет контракта — нет жены, гласит параграф [8]. В Риме — строгие формы, определяющие, переходит ли женщина под власть мужа вместе с имуществом. В крестьянской Европе вплоть до нового времени свадьба — сделка двух дворов о земле, приданом и кормлении стариков; любовь если и присутствует, то в качестве приятного, но необязательного дополнения, как соль к мясу, а не как мясо. Обвинять в этом отцов и сватов — значит не понимать физики мира, в котором ошибка в браке стоит голода внукам. Сентиментальность — роскошь сытых эпох; и заметим для точности: сытых эпох в истории почти не было до позавчерашнего дня.

1.6. Война за амбар

Если зерно — власть, то чужое зерно — цель. Археология войны и археология амбара начинаются примерно в одно время, и это не совпадение.

Логика проста. Набег на степной амбар окупается мгновенно: зерно везут, скот гонят, людей уводят — люди тоже актив, руки и чрева. В первой главе уже стояли на этой точке: насилие старше цивилизации. Здесь добавим экономику: догосударственная война была, среди прочего, формой перераспределения калорий. Кочевые общества степи жили в симбиозе с земледельческими — симбиозе, где мягкая форма называлась торговлей, а жёсткая — набегом, и граница между формами определялась соотношением сил, а не нормами [13]. От Китая до Рима история держав — это история зерновой житницы, обороняющейся от тех, у кого житницы нет: стена, которую китайские государи строили две тысячи лет, — это амбарная дверь континентального масштаба. Её редко описывают так, но функция у неё именно такая.

Но есть вторая, страшная форма войны за еду — осада. Осада — это голод, применённый как оружие: не штурм, а расчёт на то, что запас кончится раньше, чем нервы осаждающих. Оружие дешёвое и старое, как стены. И документы о нём читаются тяжело даже на фоне всего, что уже было в этой книге. Вторая книга Царств описывает осаду Самарии: ослиная голова — за восемьдесят сиклей, горсть голубинового помёта — за пять; и дальше диалог двух женщин, которых царь не может рассудить, потому что речь о том, чей ребёнок был съеден первым и кто спрятал своего для завтрашнего дня [14]. Иосиф Флавий, описывая осаду Иерусалима римлянами в 70 году нашей эры, приводит эпизод с Марией из Бет-Эзубы — женщиной из достойного дома, которая в голодном городе совершила немыслимое, и город, узнав, содрогнулся, и осаждающие, узнав, тоже [15]. Эти тексты старые, их переписывали с целями, к числам и деталям историка относятся с осторожностью — всё это так, и правило главы здесь то же: факт осады и массового голода в Иерусалиме 70 года подтверждён археологией и независимыми свидетельствами; детали помечаем как свидетельства, а не как протокол. Но сам феномен — осада как устройство для производства голода — в протоколах не нуждается: он повторялся слишком часто, чтобы быть легендой. Средневековые знали его на каждом шагу; новое время знало; двадцатый век знал и довёл до промышленной точности. Об этом — следующий раздел.



Илл. 4. «Осада»

Илл. 4. «Осада». Городская стена сложена из мешков зерна и хлебов; горожане смотрят не на врага — на стену.

1.7. Голод как оружие

Есть вещи, которые принято считать бедствиями, а они — технологии. Голод как оружие — из таких.

У оружия голода есть преимущества перед оружием железным. Оно не требует победы в бою — требует только периметра. Оно деморализует: стена, которую не возьмёшь штурмом, падёт сама, когда за ней перестанут есть. Оно выборочно по замыслу, но массово по действию: умирают не солдаты, а те, у кого меньше всего запасов, — дети, старики, бедные; солдат и чиновник голод переживают почти всегда, и вот это «почти всегда» — самая страшная фраза в истории голода. Потому что она означает: голод — не стихия, которая бьёт всех подряд. Голод — механизм, который бьёт по социальной лестнице снизу вверх и останавливается, не доходя до верха. Амартия Сен, экономист и нобелевский лауреат, посвятил этому главное дело своей жизни — и до него мы дойдём в кейс-разборе [16].

Двадцатый век применил голод как оружие в масштабах, которые до него были невозможны технически, — потому что двадцатый век умел блокировать железные дороги и конфисковывать по документу. Во время Первой мировой союзническая блокада Германии держалась и после перемирия, до подписания мира, — и оценки числа её жертв среди гражданских исчисляются сотнями тысяч; историки спорят о цифрах, но не о факте: блокада была оружием, а оружием массовым [17]. В 1932–1933 годах советская Украина и соседние регионы пережили голод, унёсший, по разным оценкам, от трёх с половиной до пяти и более миллионов жизней; роль государственных действий — изъятий зерна, запретов на выезд, чёрных досок — документально установлена, а спор историков идёт о степени намеренности, и честная формула здесь: намерение оспаривается, машина — нет [18]. В 1943 году Бенгальский голод унёс около трёх миллионов — при урожае, который не был катастрофическим; этот случай разобран ниже до костей [16]. В 1944–1945 годах Голландия в конце войны пережила *Hongerwinter* — «голодную зиму», ставшую позже золотым стандартом науки о голоде, потому что она была короткой, точно датированной и задокументированной [19]. Параллельно — блокада Ленинграда, где норма хлеба в самый страшный месяц падала до ста двадцати пяти граммов в день на иждивенца: сто двадцать пять граммов, из которых значительная часть — не мука; оценки числа умерших расходятся в сотнях тысяч, и этот разброс сам по себе диагноз [20].

Перечислять можно дальше, но не нужно: закономерность видна. Голод как оружие работает всегда одинаково — через изъятие, блокаду, цену и распределение, — и всегда бьёт по одной и той же мишени: по тем, у кого нет ни запаса, ни власти, ни голоса. Поэтому, когда в этой главе дальше говорится «власть — это распределение», речь не о метафоре. Речь о списке, в котором напротив фамилии стоит норма в граммах.

1.8. Деньги: зерно, которое научилось летать

Осталось проследить последнюю трансформацию — ту, после которой голод перестал нуждаться в зерне. Речь о деньгах. И деньги, если развернуть их к началу, оказываются опять-таки зерном — только обученным трюкам.

Само слово выдаёт родословную. Шекель — денежная единица, известная каждому, кто читал Библию, — это прежде всего вес: вес зерна, ячменя, около одиннадцати граммов в ранних системах. Мина — шестьдесят шекелей, талант — шестьдесят мин: вся денежная лестница древнего мира — это лестница весов, а весы, как мы помним, стояли в амбаре [11]. В Месопотамии тысячелетиями считали долг и цену то в ячмене, то в серебре, а чаще в обоих сразу, с переводным курсом: серебро было зерном, которое не портится, не едят мыши и не надо молотить. Деньги — это изобретённый способ хранить урожай вечно. Гениальный способ: у зерна был один-единственный дефект — оно гнило и требовало амбара; серебро дефекта не имело. Запас стал компактным, переносимым, неуничтожимым грибком и пожаром. С этого момента власть над запасом отрывается от власти над полем: больше не нужно владеть амбаром, чтобы держать за горло — достаточно владеть весами.

Дальше — стандартная для этой книги процедура: смотрим, что из этого выросло. Выросло три вещи.

Первая: долг стал абстрактным, а потому бессмертным. Зерновой долг ограничен физикой: зерна у крестьянина столько, сколько выросло. Денежный долг ограничен только бумагой: процент набегаёт на процент, долг переживает должника, переходит к детям, и арифметика перестаёт зависеть от погоды. Гребер, уже цитированный здесь, проследил это на тысячелетиях: самые жёсткие формы кабалы в истории — не зерновые, а денежные, потому что зерно кончается, а процент — нет [11]. Древние цари, прощавшие долги раз в царствование, понимали это кончиками пальцев: денежный долг — раковая опухоль амбарной экономики, его надо обрезать, пока он не съел налогоплательщика. Формула не устарела. Она лишь сменила шрифт.

Вторая: власть научилась обесценивать. Когда деньги — зерно по весу, обмануть можно только меркой, а меру сверяют. Когда деньги — знак, монета, а позже бумага, власть получает инструмент, которого у амбарного сторожа не было: портить деньги оптом, не трогая чужие амбары. Римские императоры портили денарий столетиями — доля серебра в монете падала от почти полной при Августе до следовой в III веке, и инфляция, разгонявшая цены, была, по сути, скрытым налогом на всех, кто держал монету [29]. Это первый задокументированный случай того, что позже будет называться эмиссионным доходом: государство, которому не хватает зерна, печатает его подобие. Налог, который не нужно собирать, потому что он собирает себя сам, обесценивая то, что лежит в чужих кошельках. Голод, произведённый обесцениванием, невозможно отличить от голода «естественного» — в этом его прелесть для власти и его ужас для историка: у него нет костра, нет палача, нет даже приказа. Есть только цена, которая ушла вверх, и очередь, которая не поняла почему.

Третья — и главная для нашей анатомии: отношение «зерно — едок» превратилось в отношение «цена — кошелёк», и голод окончательно сменил природу. До денег голодали там, где физически не было еды. После денег можно голодать посреди полного рынка — если пуст кошелёк. Это тот самый поворот, который Полани назовёт великой трансформацией, а Сен — проблемой правомочий: еда перестаёт быть отношением между людьми и становится отношением между ценой и доходом [16][35]. И вот здесь машина достигает совершенства: чтобы морить голодом, больше не нужно изымать зерно, жечь амбары и ставить караул. Достаточно устроить так, чтобы у части людей не хватало на цену. Нет жертв, нет палачей, нет преступле-

ния — есть рынок, есть цена, есть очередь, в которой кто-то до еды не дотягивается. Совершенное оружие не выглядит оружием. Оно выглядит экономикой.

Не будем, впрочем, делать из этого вывод «долой деньги» — книга не подстрекает, книга вскрывает. Деньги дали человечеству то, чего не могло дать зерно: расчёт между чужими, накопление без амбара, кооперацию миллионов людей, не знакомых друг с другом. Денежная экономика — одна из причин, по которой ты сегодня ешь, не зная имени своего пекаря. Но анатомия обязана зафиксировать: внутри этой великой машины сохранился древний узел — тот самый, где запас решает, кто ест. Узел сменил материал с ячменя на серебро, с серебра на бумагу, с бумаги на цифру. Узел не сменил функцию. Тот, кто стоит у источника запаса, по-прежнему стоит у всех в изголовье — только теперь изголовье называется счётом, и охранять его не нужно: оно охраняет себя само.

1.9. Голод и мораль: архив свидетельств

Осталось в историческом слое самое тяжёлое — то, что голод делает с нормами. Не с телом, с нормами. С внутренним устройством человека.

Свидетельства сходятся пугающе, и сходятся из разных эпох, от разных катастроф. Первое: голод сужает мир до еды. Это не фигура речи. В дневниках блокадного времени — самом изученном архиве голода в истории — исследователи отмечают, как из записей вымывается всё, кроме хлеба: в начале — лица, события, небо; через месяцы — граммы, очереди, суррогаты, и всё [20]. Тот же эффект зафиксировала лаборатория — Миннесотский эксперимент, ему посвящён большой раздел психологического слоя: добровольцы на полуголодном пайке теряли интерес ко всему, кроме еды, — к политике, к ухаживанию, к книгам, к друг другу [21]. Мир сжимается до миски, и это не слабость характера, это физиология приоритетов, и она у всех одинаковая.

Второе: голод расслоует мораль, а не отменяет её. Свидетельства тех же катастроф показывают вилку, от которой невозможно отвести глаза: рядом с отторжением, с тем, о чём свидетели пишут одними и теми же осторожными словами — мать, не узнающая ребёнка; сосед, забирающий карточки у умирающего, — стоят поступки обратного знака: последний кусок, отданный чужому, подвиги делёжки, которые ничем не объяснишь, кроме того, что люди разные [20][22]. Наука не любит эту фразу — «люди разные», — но архив голода заставляет её произнести. Мораль при голоде не исчезает — она дорожает. Одни платят, другие нет. Распределение этой цены — самый неудобный материал во всей главе, и утешения из него не извлечь. Единственное, что можно сказать твёрдо: никто не знает, в какую колонку попадёт сам, — знает лишь тот, кому довелось проверить. Всем остальным полагается скромность. Эта книга редко назначает добродетели, но скромность перед архивом голода назначает.

Третье: голод переписывает само понятие «нормально» — и оставляет след в потомстве. Голландская голодная зима 1944–1945 годов дала науке уникальный материал, потому что была короткой и точно датированной: дети, чьи матери голодали в определённые месяцы беременности, спустя десятилетия показали сдвинутые риски — метаболические, сердечно-сосудистые; исследователи говорят об эпигенетических метках, оставленных голодом [19]. То есть голод не только убивает настоящее. Голод пишет в программу будущего. Машина, построенная голодом, воспроизводит себя не только в институтах — в телах.

1.10. Очередь: маленькая анатомия распределения

Прежде чем закрыть исторический слой, стоит остановиться у одного сооружения, которое никто не строил и которое тем не менее возводится само всякий раз, когда дефицит выходит на улицу. Это очередь. Самое недооценённое учреждение в истории человечества — и самое честное: очередь не врёт о том, что происходит, как врёт о происходящем цена, доктрина и отчёт.

Рассмотрим её как анатомический препарат. Очередь возникает там, где распределение перестаёт доверять рынку: цене больше не позволено решать, кому достанется, — решает номер, норма, талон. Первая мировая война сделала карточные системы общеевропейским стандартом: сначала хлеб, потом всё остальное; вторая довела их до совершенства — британская система нормирования, прослужившая до начала пятидесятых, считается образцом административной справедливости, и историки отмечают парадокс: беднейшие слои Британии в войну питались лучше, чем до неё, потому что норма выравнивала вверх тех, кого цена вечно прижимала вниз [41]. Вот первая неудобная находка у стены очереди: распределение по норме может быть справедливее распределения по цене — для тех, у кого нет цены. Очередь уравнивает. И в этом её соблазн, и в этом её ужас, потому что уравнивание она производит единственным доступным ей способом — всеобщим недостатком.

Вторая находка: очередь — это школа, и программа у неё жёсткая. Она учит времени: стоять часами за малым. Она учит смирению: не выбирать, а брать, что дали. Она учит подозрительности: сосед в очереди — соперник за остаток, и мелкая бухгалтерия «кто без очереди, кто по карточкам, кому с недовесом» вытесняет из головы вопрос «почему так мало». Очередь, как и туннель Шафира — Муллайнатана, зажимает пропускную способность: человек в очереди думает о витрине, а не о системе [24]. Это и есть её главная государственная функция, о которой не пишут в приказах: очередь переводит гнев с власти на соседа. Стоящие рядом делят между собой праведное негодование с точностью до грамма, и на окно раздачи не остаётся. Окно это знает. Окна всегда знают.

Третья находка — о том, как очередь кончается. Очередь не распускают декретом; очередь исчезает, когда исчезает дефицит, — или когда исчезает доверие к ней, и тогда она мгновенно перестраивается в другую форму: в толпу у склада, в обходной рынок, в блат, в мешочничество. Дефицит, вытесненный из официального распределения, не умирает — он меняет валюту: с талона на знакомство, со знакомства на взятку, со взятки на связь. И тогда возникает теневая лестница, зеркало официальной: у кого доступ к раздающему, тот сытый вне очереди. Так дефицит производит коррупцию — не из испорченности душ, а из простого закона: где норма не кормит, там кормит отношение с нормировщиком [41]. Распределение, ставшее несправедливым в глазах стоящих, плодит обход; обход плодит двойную мораль; двойная мораль плодит цинизм — а цинизм, помни первую главу, это страх в броне. Очередь, длившаяся слишком долго, воспитывает не терпение. Она воспитывает умение жить при системе, которую никто не уважает, включая тех, кто её обслуживает. Вот это — самый долгий след дефицита, длиннее памяти о голоде: привычка обходить, передаваемая как семейный опыт, как здравый смысл, как «так устроено». Исторический слой начался с амбара; заканчивается он у окошка раздачи. Между ними — пять тысяч лет и ни одного нового принципа. Только новые мерки.

1.11. Перепись: как государство учится считать людей

Между амбаром и очередью стоит ещё одно изобретение, о котором нельзя умолчать, потому что без него ни амбар, ни очередь не работают. Это перепись — учёт людей и полей, опись ртов и борозд. Изобретение скучное на вид и потрясающее по сути: в нём государство впервые превращает человека в строку.

Логика та же зерновая, что и всюду в этой главе. Чтобы изъять долю, надо знать, с кого изымать и сколько: значит, нужны списки — дворов, ртов, десятин, голов скота. Кадры власти растут из этого вопроса, как грибница: писец, переписчик, межевщик, сборщик. Джеймс Скотт, уже стоявший в этой главе у истоков государства, в работе «*Seeing Like a State*» (1998) описал общий принцип с исчерпывающей точностью: государство не видит общество — оно вынуждено делать общество читаемым, «разборчивым», упрощая живое до таблицы: фамилия вместо человека, десятина вместо ландшафта, норма вместо нужды [42]. Перепись — это первый глаз государства. И первый его жест — не забота, а замер.

Пример, который стоит всех абстракций: «Книга Страшного суда» — Domesday Book, великая опись Англии 1086 года, заказанная Вильгельмом Завоевателем через двадцать лет после победы [43]. По стране поехали комиссии и записали всё: у кого земля, сколько плугов, сколько крестьян, сколько лугов и мельниц, сколько стоило при Эдуарде и сколько стоит теперь. Современники прозвали книгу Страшным судом — не из поэзии: как на Страшном суде не укроешься, так и от этой описи не укроешься, говорила хроника [43]. Вот она, инвентаризация, доведённая до абсолюта: победитель считает побеждённую страну, как кладовщик считает мешки. Двадцать лет спустя после завоевания — не храм, не летопись, не кодекс. Опись. Потому что власть, которая не посчитала, — не власть, а гостья.

Заметь тонкость: перепись двуедина, как всё в этой книге. Тот же аппарат, который изымает, может и спасать: учёт нужд, распределение помощи, карточная норма в беду — всё это требует того же глаза, тех же списков. Опись не зла и не добра; она — инструмент чтения, и вопрос, как всегда, в том, кто держит книгу и с какой меркой в другой руке. Но одно сказать можно твёрдо: с 1086 года — а по сути, с Урука — человек для власти существует постольку, поскольку записан. Незаписанный не платит, но и не получает; вне таблицы нет ни налога, ни нормы. С этого момента свобода и безопасность меняются местами самым незаметным образом: внутри таблицы тебя считают и кормят по строке; вне таблицы не считают и не кормят вовсе. Истории известны оба выбора — бегство в леса и горы от описи, которое Скотт называет искусством не быть управляемым, и возвращение в таблицу, когда лес перестаёт кормить [42]. Между строкой и лесом человечество металось пять тысяч лет. Мечется до сих пор, только лес кончился, а таблица стала цифровой и умещается в кармане.

1.12. Эпилог исторического слоя: что не изменилось

Закрывая исторический слой, стоит проговорить то, что обычно проговаривают шёпотом: за пять тысяч лет, прошедших с глиняной таблички, в узле раздачи не изменилось ничего принципиального. Изменилась упаковка. Узел — нет.

Суди сам по деталям. Государственный запас зерна — изобретение, которое традиция приписывает ещё Иосифу в Египте с его семью годами, — стоит сегодня в каждой стране под именем стратегического резерва, и споры о том, сколько в нём должно лежать, ведутся теми же словами, какими спорили царские писцы: слишком мало — страшно, слишком много — дорого. Экспортный запрет в неурожайный год — мера, которую принимали вавилонские цари и принимают правительства сегодня, в точности с тем же эффектом, который Сен разобрал на Бенгалии: запрет спасает своих и множит панику чужих, цена улетает, и где-то в конце цепочки покупатель с малым кошельком остаётся без корзины [16]. Продовольственная безопасность — термин современных доктрин — есть не что иное, как страховка амбара, переписанная языком министерств. Меняются формулировки, не меняется формула: еда — это первая строка суверенитета, и тот, кто ею пренебрегает в мирное время, платит за это в трудное двойной ценой.

Второе, что не изменилось: распределение как сердце власти. В первой главе говорилось, что группа платит вождю за снятие тревоги; эта глава добавляет, чем именно платит вождь в ответ: доступом к запасу. Вся политика, очищенная от риторики, сводится к вопросам, которые ставила табличка из Урука: сколько взять, у кого взять, кому дать, кто считает. Бюджет любого государства — это та же ведомость, только длиннее; битва за бюджет — та же битва у амбара, только с регламентом; и то, что мы называем большой политикой, есть не что иное, как борьба за право стоять с меркой. Сменились мерки. Поза осталась.

Третье, что не изменилось, — асимметрия: голод, где бы он ни случился, бьёт снизу вверх по лестнице и останавливается перед верхними ступенями. У Самарии и Иерусалима, у Парижа и Бенгалии, у всех осаждённых и всех обнесённых ценой — расклад один: едят те, у кого запас и доступ; голодают те, у кого ни того ни другого; и расстояние между этими группами называется социальной лестницей, но измеряется оно в днях запаса. Вот почему этой книге наплевать на утешение «мы теперь другие». Мы не другие. Мы — те же, с лучшей логистикой. А логистика, как показывает всякий большой кризис, вещь хрупкая: достаточно, чтобы перестал работать один узел — порт, граница, платёжная система, — и расстояние до амбарной древности сокращается до нескольких недель пустых полок. Тот, кто видел пустые полки хотя бы раз, уже не спорит с этой фразой. Остальным — пожелание не проверять.

Исторический слой закончен. Соберём его в строку: дефицит — заводская настройка; зерно сделало излишек хранимым, а хранимое — присваиваемым; собственность, закон, государство и брак — отростки амбара; деньги — зерно, обученное летать; война за еду стара как амбар; голод — оружие выборочное и социально точное; мораль при голоде не отменяется, а расслаивается по цене; и всё это не история в прошедшем времени, а чертёж в настоящем. Теперь — в лабораторию. Потому что всё это, сказанное об истории, можно принять как беллетристику, пока не увидишь цифры прибора.

2. Психологический слой

2.1. Физиология голода: тело отзывает мандат

Прежде чем говорить о психике голодающего, надо отдать должное простому факту: психика тут — вторая. Первое — тело, и тело при голоде не просит, а приказывает.

Устройство коротко. Гипоталамус — тот же узел, что в первой главе заведовал тревогой, — заведует и энергетикой: он считывает сигналы крови и выдаёт решения. Грелин, гормон пустого желудка, растёт перед едой и орёт «ищи»; лептин, гормон жировой ткани, докладывает о запасах и должен говорить «хватит» — должна сказать, потому что при длительном голоде лептин падает, и тормоз отпускает окончательно [23]. Но гормоны — только курьеры. Главное при голоде другое: тело пересматривает бюджет. Когда калорий меньше, чем нужно, организм начинает закрывать статьи расходов — и порядок закрытия жестоко логичен. Первым сокращается всё «необязательное»: тепло — голодающий мёрзнет, потому что обогрев дорог; движение — голодающий неподвижен, потому что мышцы жгут валюту; воспроизводство — у женщин при сильном дефиците останавливается цикл, у мужчин падает либидо: вид, которому нечем кормить детёныша, детёныша не делает, это дешевле [21]. Иммуитет режется, настроение режется — да, настроение тоже расходная статья: депрессия при голоде не реакция духа, а экономия ресурса, зачем бодрость тому, кто всё равно не должен тратиться. И последним, когда закрыто всё, тело начинает есть само себя — сначала жир, потом мышцы, потом, в глубоком голоде, то, что без чего нельзя. Сердце — мышца. Фраза «сердце разрывается от голода» у врача голодных отделений не метафора [20].

Теперь следствие для головы, и оно — база всего дальнейшего. Психика не парит над телом; психика — один из его отделов, и бюджет у этого отдела тот же. Когда тело переходит на аварийный режим, отдел психики получает приказ: одна задача — еда. Всё остальное — отвлечение, роскошь, мятеж против бюджета. Голод не делает человека злым, это слишком просто и это неправда. Голод делает человека ОДНОЗАДАЧНЫМ. А из однозадачности — смотри первую главу — растёт всё остальное: и сужение круга «своих», и готовность принять любого, кто обещает миску, и неспособность думать дальше завтрашнего утра. Власть это знает. Власть это знала всегда. Но сначала — эксперимент, который это доказал.

2.2. Миннесотский эксперимент: тридцать шесть недель внутри голода

В 1944 году, когда война ещё шла, а Европа уже начинала голодать, физиолог Ансел Киз из Университета Миннесоты поставил эксперимент, у которого до сих пор нет аналога — и, по современным нормам этики, быть не может [21]. Задача была практическая: война кончится, освобождённая Европа будет голодной, и никто на тот момент не знал толком, как выводить человека из голода, — чем кормить, сколько, в каком порядке. Чтобы ответить, нужно было сначала довести людей до полуголодного состояния контролируемо и потом реабилитировать. Добровольцев нашли: тридцать шесть мужчин, молодых, здоровых, отобранных из сотен, — по убеждениям отказники от военной службы, люди сильной гражданской позиции, которые подписались голодать, чтобы помочь науке спасти голодающих. Запомни этот профиль: не случайные люди с улицы, а отобранные, мотивированные, идейные. Это важно для вывода.

Протокол был строительной точности: три месяца нормального питания с замерами всего — вес, кровь, психика, тесты, походка, пульс; потом шесть месяцев полуголодания — рацион, смоделированный под еду голодающей Европы: картофель, репа, капуста, хлеб, макароны, в среднем около тысячи пятисот-шестисот килокалорий в день, плюс нагрузки — ходьба, работа; потом три месяца контролируемой реабилитации, и наблюдение — ещё долго после [21].

Что случилось с телом — предсказуемо: мужчины потеряли в среднем около четверти массы, пульс упал, температура упала, отёки, слабость, хронический холод. Но главный результат эксперимента Киза — не телесный. Главный результат — психический, и его стоит перечислить медленно, потому что это самый страшный список в главе.

Первое: одержимость едой. Участники начали жить едой — и это не преувеличение, а констатация протокола. Они собирали рецепты и поваренные книги, разглядывали картинки с едой часами; они придумывали ритуалы — размазывали скудный паёк, чтобы казалось больше, растягивали трапезу; разговоры сошлись к еде; сны сошлись к еде [21]. Интерес ко всему остальному — к политике, за которую они вступили в эксперимент, к учёбе, к девушкам, к друг другу — угасал по мере того, как таял вес. Двое участников срывались, и срывы фиксировались: съеденное вне протокола, чувство вины, новые срывы. Один из участников под конец, спустя десятилетия, вспоминал, что единственное, о чём он мог думать, — это еда; другой признавался, что начал ненавидеть то, что еда стала центром его личности. Подчеркнём: это не «слабаки». Это лучшие из отобранных, с сильнейшей мотивацией, под наблюдением, при поддержке. Голод перемолол и их.

Второе: распад социального. Участники отдалялись друг от друга. Общие трапезы превратились в раздражающую обязанность: чужие ритуалы за столом бесили, чужой кусок бесил, шутка бесила. Раздражительность, вспышки, изоляция — протокол фиксирует это снова и снова [21]. Голод не объединяет. Голод разъединяет — каждый со своей миской, наедине. Это противоречит жанровой картинке «в беде люди сплачиваются», и архив реальных голодов, о котором говорилось в историческом слое, подтверждает: сплачиваются в беде — быстро и ярко; в голоде — долго не сплачивается никто, голод шлифует человека до одиночки. Власти, которые умеют держать население на полуголодном пайке, знают об этом эффекте больше, чем психологи: разобщённое население — управляемое население, а миска — лучший разобщитель.

Третье — и самое неожиданное для самих исследователей: реабилитация оказалась тяжелее голода. Когда еду вернули, психика не вернулась за ней автоматически. Депрессия и одержимость держались месяцами; некоторые участники на реабилитации, имея неограниченную еду, не могли остановиться, ели до боли; чувство контроля возвращалось медленно [21]. Из эксперимента Киза выросло целое крыло науки — о последствиях диет, о расстройствах пище-

вого поведения, о том, что ограничение еды само по себе производит психопатологию, которую долго считали причиной. Но для нашей книги важен другой вывод, политический: голод не отпускает с окончанием голода. Человек, переживший дефицит, несёт его в себе дальше — в виде накопительства, недоверия, одержимости запасом, неспособности выбросить еду. Эпидемиологи видят это в поколениях; историки — в целых обществах, переживших великие голодоморы и потом десятилетиями живущих жёсткими запасами. Голод — единственная эпидемия, которая после отступления продолжается в привычках.

И финальный вывод раздела — самый неудобный. В эксперименте Киза участвовали идейные люди, и голод перемолол идейность: не превратил в злодеев — нет, — но сузил до еды, раздражил, изолировал, лишил того, что называется широтой личности. Теперь перенеси на население, которое не подписывалось, не отбиралось и не наблюдается, — и получишь ответ на вопрос, который задаст эта глава в конце: сколько дней голода отделяет тебя от твоих принципов? Миннесота отвечает: меньше, чем хотелось бы. Гораздо меньше. И ответ этот не про кого-то там, а про вид. Про тебя.



Илл. 3. «Пустая миска»

Илл. 3. «Пустая миска». Из пустой миски поднимается дым, а в дыму — город, храмы, короны, армии: всё, что построил голод.

2.3. Дефицит съедает разум: наука о скудости

Второй блок психологии — про то, что дефицит делает с мышлением, даже не доводя до голода. Здесь недавняя наука сказала новое слово, и слово это — из самых важных для понимания власти.

Экономист Сендхил Муллайнатан и психолог Эльдар Шафир в книге «Дефицит» («Scarcity», 2013) собрали десятилетия экспериментов в одну теорию [24]. Тезис: дефицит — любой: денег, времени, еды — не просто нехватка ресурса. Дефицит захватывает ум. У нуждающегося мозга включается аварийный режим внимания: все вычислительные мощности уходят на нехватку — как дожить до зарплаты, как успеть к сроку, чем поесть, — и на всё остальное остаётся меньше. Шафир и Муллайнатан называют это пропускной способностью: ум — как компьютер, у которого фоновая программа съедает память. Пользователь не виноват, что компьютер тормозит: тормозит не он, тормозит фон. И точно так же человек в дефиците не «тупеет по сути» — он мыслит с зажатой пропускной способностью, и результаты его мышления хуже ровно настолько, насколько зажат канал [24].

Самый эффектный эксперимент этой серии поставлен в поле, не в лаборатории. Экономисты Анандж Мани, Сендхил Муллайнатан, Эльдар Шафир и Цзяин Чжао изучали индийских фермеров, выращивающих сахарный тростник: культура даёт доход раз в год, после уборки, — и потому один и тот же фермер богат сразу после урожая и беден перед ним [25]. Исследователи тестировали одних и тех же фермеров дважды — до урожая и после, — измеряя когнитивные функции. Результат, опубликованный в Science в 2013 году: один и тот же человек, голодный в кошельке, показывал результаты хуже — падение, эквивалентное примерно тринадцати пунктам коэффициента интеллекта, или бессонной ночи [25]. Тринадцать пунктов. Не от недоедания — ели фермеры всё-таки; от НЕХВАТКИ ДЕНЕГ, от фоновой программы «как дотянуть». Дефицит съедает ум до того, как съест тело.

Теперь — применение, и оно холодное. Общество, в котором масса людей живёт в хроническом дефиците, — это общество с зажатой пропускной способностью миллионов умов. Решения таких умов короче: взять кредит под любой процент, согласиться на любую работу, поверить любому, кто обещает простое, — не потому, что люди глупы, а потому, что фон жрёт память. Муллайнатан и Шафир вводят понятие туннелирования: в дефиците виден только туннель — ближайшая задача; всё за его пределами исчезает, включая последствия [24]. Из туннеля прекрасно виден срочный заём и совершенно не виден его процент. Из туннеля прекрасно виден обещающий миску вождь и не видна цена обещания. Управлять населением в дефиците — значит управлять людьми в туннеле: им не надо лгать изошрённо, им надо просто держать дефицит. Дефицит сам делает всю работу по сужению мысли. Это самая дешевая технология управления из известных, и она не требует ни полиции, ни цензуры: требует только пустого кошелька.

Осталось сказать об обратной стороне — она тоже измерена. Дефицит не только зажимает ум; дефицит заостряет его на предмете нехватки. Бедный лучше богатого считает цены — факт, воспроизводившийся; голодный точнее сытого распознаёт всё, связанное с едой; в экспериментах Шафира люди в дефиците показывали сверхточность в узкой зоне нехватки [24]. То есть дефицит — не тупик, а деформация: ум не угасает, ум перегибается в одну сторону. Из этого перегиба растут и феноменальные выживальщики, и феноменальные мошенники выживания, и целые культуры запаса. Всё это — один орган, один механизм, разные среды. Судить его — последнее дело. Понимать — первое.

2.4. Мораль на диете: что психика делает с принципами

Теперь то, о чём исторический слой говорил через архив, а психология должна сказать через механизм: что происходит с моралью, когда миска пустеет.

Начнём с известной иллюстрации, потому что её надо сначала поставить, а потом сместить. Пирамида Маслоу — потребности этажами: внизу физиология и безопасность, выше привязанность, ещё выше признание, на вершине самоактуализация [26]. Красивая схема, всемирно известная — и настоящая наука к ней относится сдержанно: Абрахам Маслоу сам не рисовал пирамиду, её нарисовали позже из его текста; экспериментальных подтверждений жёсткой лестницы не нашлось; люди постоянно жертвуют «нижними» потребностями ради «верхних» — голодают за веру, гибнут за честь [26]. Так что пирамиду ставим на полку с надписью «упрощение». Но — и это важно — упрощение не в том смысле, что всё наоборот, а в том, что порядок не жёсткий. В среднем, по большой выборке, по большому счёту голод действительно выталкивает человека вниз по лестнице — эксперимент Киза это показал с чудовищной ясностью: идейные люди на полуголодном пайке потеряли интерес к идеям [21]. В среднем. А в частностях — архив голода показывает тех, кого голод не вытолкнул, и эти частности не дают превратить главу в механистическую сказку. Держим обе стороны: тренд — вниз, исключения — вверх; и никто не знает своей колонки заранее.

Механизм тренда понятен из уже сказанного: мораль — это надстройка, а надстройка требует энергии. Сострадание — вычислительно дорогое действие: надо смоделировать чужое состояние, удержать его в голове, сопоставить со своим, принять решение не в свою пользу. При зажатой пропускной способности такие операции сокращаются первыми — как в компьютере сначала закрываются фоновые окна. Круг «своих» из первой главы сжимается при дефиците быстрее, чем при любой другой угрозе, потому что дефицит — угроза калорийная, базовая, без обходных путей [27]. Свидетельства голода фиксируют это сжатие на языке быта: сначала перестают делиться с соседями, потом с дальней роднёй, потом — самый страшный порог, о котором архив пишет шёпотом, — внутри семьи [20][22]. И всякий раз подчёркивается: те, кто удержал широту, — существовали, и их имена известны. Но правило — сжатие. Правило всегда сжатие.

Второй механизм — моральная перестройка вины. Психика не выносит жить с чувством «я бросил ближнего», и потому при голоде она производит оправдания с той же надёжностью, с какой фабрика Шиньона из первой главы производила признания. Ближний объявляется недостойным: он сам виноват, он спрятал, он бы тоже не поделился. Лернеровская вера в справедливый мир, знакомая нам, работает здесь как анестезия: если мир справедлив, то голод голодающего — его заслуга, и моя миска — моя заслуга, и совесть спит [28]. Не смейся над этим механизмом и не примеряй его только к далёким катастрофам: он работает в любой очереди, где не всем хватает, и в любом бюджете, где надо кого-то сократить. Масштаб разный, станок тот же.

И третий механизм — самый политический: голод учит благодарности к раздающему. Тот, кто в голод дал миску, приобретает в глазах получившего статус, который не смывается ничем: ни злодейством, ни ложью, ни ценой миски. Психика привязывает благодарность к источнику выживания так же прочно, как привязывает страх, — мы это видели у Уотсона на крысе, механизм один: спаситель и еда совпали во времени, значит, спаситель свят. Дальше — бухгалтерия власти: чтобы быть святым, надо сначала создать голод или дождаться его, а потом раздавать. Циничная формула? Да. Именно поэтому она в блоке «неудобная правда», а не в учебнике граждановедения. В Риме формулу знали наизусть — следующий раздел о том, как её довели до государственного искусства.

2.5. Хлеб и зрелища: экономика лояльности

Римская империя кормила столицу — и это была самая большая операция по раздаче еды в древнем мире и, возможно, самая изобретательная политическая технология античности.

Цифры для масштаба. Рим первых веков нашей эры — город порядка миллиона жителей, по оценкам, которые спорят в пределах, но не о порядке [29]. Пропитать такой город местное поле не могло — зерно шло из Египта, из Африки, с Сицилии, флотилиями, по расписанию, под контролем государства: аннона, система снабжения, с префектом анноны — одним из главных чиновников империи [29]. С конца республики в Риме существовала раздача зерна гражданам — сначала льготная продажа, с 58 года до нашей эры, после закона Клодия, — бесплатная: списки получателей, сотни тысяч имён, регулярная выдача [29]. К раздаче прилагались зрелища — игры, — и сатирическая формула Ювенала, «хлеба и зрелищ», *panem et circenses*, стала на века ярлыком: народ, который всем управлял, теперь жаждет только двух вещей [30]. Ювенал был сатирик и бил в больное: обесценить раздачу как «подкуп черни» легко, а понять её как систему труднее. А система была точной: раздача не кормила Рим досыта — она гарантировала базу, и в обмен на базу город лояльничал. Плебс, который мог перевернуть улицу, получал зерно и цирк; император получал улицу. Договор нигде не подписан и действовал веками. Разорвать его было опаснее, чем проиграть войну: узурпаторов свержали не сенаты — цена хлеба [29].

Разберём механику, потому что она — образец для всех эпох. Первое: раздача создаёт зависимость, а зависимость — преданность. Получатель бесплатного зерна не задумывается, откуда оно, — задумывается, как бы не отменили. Политик, посягнувший на раздачу, становится врагом народа в буквальном смысле; политик, расширивший её, — отцом народа, тоже в буквальном. Второе: раздача выборочно-точечна. Зерно получали граждане столицы — не Италия, не провинции: те, кто физически мог собраться на форуме и решить судьбу власти. Рим кормил не самых голодных — Рим кормил самых опасных. Запомни этот принцип, он безотказный: раздача идёт не туда, где нужда, а туда, где угроза. Третье: раздача дешевле подавления. Цена зерна для столицы — строка в бюджете империи; цена постоянного вооружённого удержания миллионного города — неподъёмна. Хлеб дешевле меча и надёжнее: меч можно повернуть, хлеб нельзя — его едят [29].

Четвёртое — и самое тонкое: раздача переписывает достоинство. Тот, кто годами получает паёк, постепенно перестаёт видеть в нём сделку: паёк становится правом, потом — естественным порядком вещей, потом — частью личности. Римский гражданин, стоявший за зерном, не чувствовал себя содержанцем — он чувствовал себя наследником Ромула, пользующимся законной долей, и в каком-то смысле был прав: доля действительно была законной, вопрос лишь в том, кто и зачем её установил. Механизм, при котором зависимость одевается в одежду права, — высшее достижение распределительной власти: зависимый сам охраняет свою зависимость, потому что она теперь называется его достоинством. И тогда любая попытка отменить раздачу встречает не рассуждение, а возмущение оскорблённого права — самую горячую политическую эмоцию из существующих. Власть, которая это поняла, получает народ, который сам требует миски и сам карает тех, кто на миску посягнул. Идеальная конструкция: цепь, которую носят как орден. Рим носил её шесть веков и ушёл с исторической сцены, так и не расстегнув.

Складывалась система в совершенную машину: Египет и Африка сеют, флот везёт, префект анноны делит, император раздаёт, толпа лояльничает, сенат бормочет, историк делает выводы. И в этой машине нет ни одного злодея — вот что важно. Каждый винтик рационален: крестьянин сеет, потому что платят; чиновник делит, потому что должность; император раздаёт, потому что иначе свергнут; толпа лояльничает, потому что есть. Система цинична при

полной невинности участников — и это, пожалуй, главная мысль, которую стоит унести из римского примера: машина власти не нуждается в злой воле. Ей достаточно дефицита, запаса и ключа. Всё, что дальше произойдёт в истории — казённые пайки, талоны, пособия, субсидии, раздачи перед выборами в любом веке, — будет вариацией на тему Рима: тот же дефицит, тот же запас, тот же ключ. Римляне были просто первыми, кто сделал это в масштабе миллиона едоков и оставил мемуары.



Илл. 5. «Раздача»

Илл. 5. «Раздача». Рука сыплет зерно; зёрна превращаются в нити, тянущиеся к запястьям.

Но прежде чем перейти к философам, осталась одна комната психологического этажа — дальняя, в которую редко заглядывают: та, где голод живёт после голода.

2.6. Память голода: как дефицит становится характером

Самое долговечное произведение голода — не труп и не руина. Самое долговечное — привычка. Голод кончается, а его жесты остаются, передаются, застывают в культуру, и через поколения уже невозможно понять, где бережливость, а где окаменевшая паника.

Начнём с индивида, здесь данные аккуратные. Участники Миннесотского эксперимента, как уже сказано, долго не возвращались к норме после возвращения еды: еда оставалась центром внимания, наесться до конца не удавалось месяцами [21]. Классические работы по выжившим в концентрационных лагерях и блокадах фиксируют тот же след в десятилетиях: невозможность выбросить еду, тайные запасы в доме, физическую боль при виде выброшенного хлеба, панику при пустом холодильнике [22]. Психиатры называют это следствием травмы; антропологи называют проще: память тела, перешедшая в память жестов. Человек, переживший голод, никогда больше не ест один раз. Он ест дважды: сегодняшнюю еду — и ту, которой не было тогда.

Теперь поднимемся на этаж выше: семья. Память голода не требует слов — она передаётся через стол. «Доедай», «хлеб не выбрасывают», «запас на чёрный день», консервы на антресолях, огород вместо газона, недоверие к кредиту и преклонение перед запасом — всё это фольклор выживших, и любой этнограф прочтёт в семейных привычках дату катастрофы точнее, чем по метрическим книгам. Общества, пережившие великие голоды, носят их десятилетиями: в культуре накопительства, в подозрительности к завтрашнему дню, в готовности терпеть многое ради гарантированной миски. Власть, заметим, этим пользуется как готовым инструментом: население с памятью голода покупается дешевле — ему не нужно обещать богатства, ему достаточно обещать, что «будет как вчера, только не хуже». Стабильность, предложенная голодной памяти, — самый ходовой товар политики любого века. И самый дешёвый в производстве: ничего не менять.

Третий этаж — культура целиком, и здесь осторожность обязательна: объяснять культуру голодом — искушение редуccionистское, и книга, сама построенная на скальпеле, обязана знать пределы своего лезвия. Но кое-что прослеживается надёжно. Праздники почти всех традиционных культур — это праздники еды, и это не совпадение: застолье — ритуальное отрицание дефицита, разрешённая оргия изобилия в мире, где изобилие — исключение [3] [36]. Посты — зеркальная конструкция: ритуализованный голод, посаженный на расписание, чтобы голод внезапный не застал без подготовки и чтобы воздержание имело смысл, а не только дату. Гостеприимство как святость — от кочевых степей до горных деревень — это страховка, оформленная как норма: накорми чужого сегодня, потому что завтра чужой — ты. Вся эта ткань — застолья, посты, священность хлеба, запрет выбрасывать корку — есть вышивка по одной канве: по памяти о том, что еда может кончиться. Культуры, у которых еда не кончалась никогда, истории неизвестны. Вот почему канва одна и та же везде.

И последнее наблюдение этого раздела — самое горькое. Память голода делает людей ценителями миски, но не делает их союзниками друг друга. Общества с голодной памятью не становятся солидарнее — они становятся запасливее, а запасливость, доведённая до системы, это то же зернохранилище, только домашнее: моё, не трогай, на чёрный день. Голод учит копить — он не учит делиться; делиться учила эпоха взаимности, давняя, доамбарная, и её уроки выветриваются именно там, где амбар победил. В этом парадокс, который стоит вынести на табличку: голод, будучи общим врагом, не объединяет людей — он расселяет каждого в собственный амбар. Миннесота показала это в масштабе личности: голодающие отдалялись друг от друга [21]. История показывает это в масштабе обществ: народы, пережившие голод, долго

живут режимом «сначала мой запас». Из этого режима вырастают и добрососедские заборы, и государственные границы, и та особая глухота к чужой нехватке, которая удивляет только тех, кто не читал этой главы. Голодная память — страж дефицита. Дефициту не нужна охрана: его охраняют бывшие голодные, бесплатно, из поколения в поколение, называя это здравым смыслом.

2.7. Разрыв эмпатии: почему сытый не понимает голодного

Последний механизм этого слоя — самый тихий и, возможно, самый важный для всей книги. Он объясняет, почему глава, которую ты сейчас читаешь, не может передать своё содержание полностью — и почему все разумные возражения, которые у тебя возникали по ходу чтения, сами являются симптомом.

Психолог Джордж Лёвенштайн описал феномен, названный им «разрывом эмпатии между горячим и холодным состояниями» — hot-cold empathy gap [40]. Суть: человек в спокойном, «холодном» состоянии — сытым, безопасным, трезвым — не способен точно представить, каким он будет в состоянии «горячем» — голодном, напуганном, охваченным воодушевлением или яростью. И наоборот: в горячем состоянии человек не понимает, как мог думать холодно. Между двумя состояниями одного и того же человека стоит стена, и стена эта непроницаема для воображения. Эксперименты показывали это раз за разом: люди, планирующие поведение в холодном состоянии, систематически ошибаются в прогнозе собственного поведения в горячем — переоценивают свою силу воли, недооценивают драйв состояния, обещают за себя то, что сдержать не смогут [40].

Приложи это к теме главы — и всё встанет на место с щелчком. Сытый читатель, рассуждающий «я бы не взял чужого», «я бы поделился», «я бы сохранил достоинство», — это холодный человек, прогнозирующий горячего. Прогноз неверен по определению механизма: холодный ум не имеет доступа к тому, как перестраивает приоритеты горячий. Миннесотские добровольцы тоже были уверены в себе — они подписались, будучи сытыми, мотивированными, идейными; и потом шесть месяцев показывали приборам, во что превращается идейность при тысяче пятистах калориях [21]. Разрыв эмпатии — это то, что позволяет каждому поколению быть уверенным, что оно другое. Стена стоит не между людьми — между состояниями. И все на этой стороне стены одинаково слепы к той.

Из разрыва эмпатии следуют два вывода, и оба неуютные. Первый — про суждение: тот, кто не голодал, не может судить голодающего, потому что судит из другого мира, из холодного состояния, в котором мораль дешёвая. Архив голода — то самое место, где эта истина должна останавливать руку любого, кто тянется осудить: мать, не узнавшую ребёнка, соседа, взявшего чужие карточки, — судить их может только тот, кто прошёл теми же граммами. Остальным положено молчание и вывод. Второй вывод — про себя: твоя нынешняя уверенность в собственных принципах — это не данные о тебе, это данные о твоей сытости. Разрыв эмпатии гарантирует, что ты не можешь знать себя голодного, пока не встретишься с ним. Вопрос главы — сколько дней голода отделяет тебя от твоих принципов? — потому и не имеет ответа у сытого, что у сытого нет прибора для измерения. Прибор есть только у голода. И хорошая новость, единственная в этой главе: знание о стене — уже полшага через неё. Человек, знающий о разрыве эмпатии, не обязан падать в цинизм «все сволочи» и не обязан парить в иллюзии «я выше этого». Он может сделать третье — подготовить холодное решение для горячего состояния: заранее, сытно, спокойно решить, каким он намерен быть, и построить опоры, которые удержат, когда приборы завоют. Так делают с самолётами и кораблями: не надеются на хладнокровие в аварии, а строят процедуры в мирное время. Мораль — тоже инфраструктура. Её строят до шторма, не во время.

Завершая психологический слой, сведём: тело при голоде отзывает у психики мандат на широту; эксперимент Киза показал, что идейность не защищает; дефицит зажимает пропускную способность и туннелирует мысль; мораль дорожает и сжимается; благодарность к раздающему — самая прочная валюта лояльности; Рим превратил всё это в государственную тех-

нологию; память голода делает технологию бессрочной, записывая её в привычки потомков; а разрыв эмпатии охраняет всю конструкцию от самопознания, уверяя каждого сытое сознание, что оно другое. Осталось спросить, что обо всём этом думали те, кто думал, — философы. Спойлер: они заметили всё это раньше лабораторий, как обычно, и сформулировали злее.

3. Философский слой

3.1. Мальтус: арифметика апокалипсиса

В 1798 году английский священник и экономист Томас Роберт Мальтус опубликовал «Опыт о законе народонаселения» — анонимно, как гром среди ясного неба [31]. Мысль уместается в две строки и от этого не становится мягче: население растёт в геометрической прогрессии — каждая пара оставляет больше двух детей, и числа множатся, — а производство пищи способно расти лишь в арифметической: поле нельзя размножить, как семью. Разрыв прогрессий — вечный, и закрывается он одним из двух способов: либо «предохранительными» ограничениями — поздними браками, воздержанием, — либо «позитивными»: голодом, болезнью, войной. Мальтус не желал второго — он его предсказывал, как следствие арифметики, и потому веками слышал обвинения в жестокости. Между пророком и арифметикой публика всегда выбирает пророка, чтобы было кого побить.

С Мальтусом случилась редкая участь: его опровергали два века подряд, и он оба века оставался актуален. Опровержение шло по линии технологий: химия дала азотные удобрения — процесс Габера — Боша в начале XX века научился вязать азот из воздуха, и человечество буквально начало делать хлеб из небес; селекция, механизация, «зелёная революция» Нормана Борлоуга в середине века подняли урожайность кратно [32]. Производство еды перестало быть арифметической прогрессией — оно стало инженерией. Население Земли выросло с миллиарда времён Мальтуса до восьми, и голод, как доля человечества, сжался до исторического минимума. Казалось бы, священник посрамлён. Но посрамлена только его арифметика, не его логика: логика Мальтуса — разрыв между тем, сколько нас, и тем, сколько запаса, — не отменена, а отложена и переведена в другие переменные: вода, почва, климат, цена. Книга не пророчит — книга анатомирует; поэтому просто отметим: каждый раз, когда очередная эпоха объявляла мальтузианскую ловушку захлопнувшейся навсегда, эпоха говорила это на сытый желудок и короткую память. Ловушка не захлопнута. Ловушка модернизирована.

А для нашей темы Мальтус важен другим: он первый в новой истории сказал вслух, что голод — не случайность и не наказание, а встроенный регулятор, что дефицит — конструктивный элемент мироздания людей. Отсюда один шаг до мысли, которую Мальтус не делал, а мы сделаем: если дефицит встроен, то тот, кто управляет дефицитом, управляет регулятором. Мальтус видел в голоде закон природы. Власть разглядела в голоде инструмент. Об этом — кейс-разбор, он будет страшнее любого пророчества.

3.2. Маркс: базис и надстройка

Карл Маркс — фигура, от которой у половины читателей аллергия, у второй половины обожание; книга относится к обоим лагерям одинаково, то есть никак, потому что книга — про механизмы, а Маркс, нравится это кому-то или нет, сформулировал один из главных механизмов этой главы.

Формула находится в предисловии к «К критике политической экономии» (1859): способ производства материальной жизни обуславливает процесс жизни социальной, политической и духовной вообще; не сознание людей определяет их бытие, а их общественное бытие определяет их сознание [33]. Переведём с философского на язык этой книги: сначала — как добывается и делится еда, потом — какие идеи, законы, веры и морали это порождает. Базис — амбар; надстройка — всё остальное. Марксистская традиция превратила это в жёсткую схему, где надстройка — почти пар над базисом, и схема эта справедливо критиковалась за прямолинейность: идеи тоже меняют экономику, вера тоже двигает армии. Но в нашей главе Маркс нужен не как пророк, а как анатом: он первый в европейской мысли поставил желудок в основание философии системно, не как метафору. Религия, право, семья, государство — всё это, в его оптике, формы, отлитые вокруг вопроса «кто ест и кто раздаёт». Глава, которую ты читаешь, не марксистская — она шире: она ставит рядом с экономикой психологию и биологию. Но скальпель тот же: ищи под идеей интерес, под интересом — дефицит, под дефицитом — амбар. Девять случаев из десяти найдёшь. Десятый — исключение, и именно исключения делают историю интересной, а не только страшной.

3.3. Руссо: огороженный участок

Жан-Жак Руссо в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства» (1755) написал абзац, который стоит здесь целиком по смыслу, если не по букве: первый, кто, огорожив участок земли, придумал сказать «это моё», и нашёл людей достаточно простодушных, чтобы ему поверить, был истинным основателем гражданского общества; от скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, вырвав колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «Не слушайте этого обманщика; вы погибнете, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля — никому» [34].

Руссо, как водится, прав и виноват одновременно. Прав — в диагнозе: неравенство действительно начинается с ограды, с того момента, когда излишек стал чьим-то, — глава это уже показала на зерне и амбаре. Виноват — в романтике: будто человечество «не догадалось» вырвать колья по глупости. Не по глупости. По голоду. Ограда стояла не потому, что её терпели, а потому, что за ней был запас, и у того, кто вырвет колья, не будет ни запаса, ни урожая, ни зимы. Руссо мечтал о мире без оград; мир без оград существовал — он назывался собирательством, и он кончился не из-за коварства, а из-за арифметики: собирательство кормит десятки, земледелие — тысячи. Ограда — цена плотности. Можно сколько угодно оплакивать рай без собственности, но в раю без собственности помещалось человечество размером с небольшой город. Всё остальное человечество — дети ограды, наследники амбара, и нас тут восемь миллиардов. Это не оправдание неравенства — это его анатомия. А анатомия, договорились в первой главе, не назначает лечения. Она показывает, где нерв.

3.4. Полани: великая трансформация

Карл Полани в «Великой трансформации» (1944) совершил переворот, по масштабу равный мальтусовскому, но в другую сторону [35]. Принято думать: рынок — естественное состояние людей, торговали всегда, а государство лишь мешало или помогало. Полани пошёл в архив и антропологию и вернулся с обратным: на протяжении почти всей истории экономика была «вплетена» в общество — в родство, религию, власть, — а распределение шло не через цену, а через взаимность и перераспределение: делёж в общине, дар, подать, амбар вождя, раздача царя. Рынок как самостоятельная сила, где цена решает всё, а земля, труд и деньги — просто товары, — изобретение позднее, и внедрялось оно не естественным путём, а насилием: огораживаниями, законами о бедных, принудительным отрывом крестьянина от земли [35].

Для нашей главы Полани — мост между древним амбаром и современной ценой. Смотри, что он показывает: весь предыдущий опыт вида говорил, что еда — не товар, а отношение: её делили, выдавали, дарили, отмеряли — и всякий раз еда была связана с властью и нормой. «Великая трансформация» отрезала еду от отношения и повесила на неё ценник. С этого момента голод меняет природу: раньше голодали, когда нечего было есть; теперь можно голодать, когда есть что есть, — но не на что купить. Голод от нехватки еды сменяется голодом от нехватки доступа. Это решающий поворот всей главы, и именно на нём стоит кейс-разбор: Бенгалия 1943 года — катастрофа, в которой еда была, а умирали те, у кого не было цены на неё. Полани дал раму. Амартия Сен дал инструмент. Сейчас — обоих.

3.5. Марвин Харрис: кухня, на которой варилась мораль

Антрополог Марвин Харрис — автор манеры, которую эта книга использует больше, чем признаётся: брать самое священное и искать под ним самое материальное. Его школу называют культурным материализмом, и её метод прост до неприличия: любой странный обычай, любой запрет, любая святость — ищи, что это даёт в калориях, в экологии, в хозяйстве [36].

Знаменитые разборы Харриса — из «Каннибалов и королей» (1977): священная корова в Индии. Запрет убивать коров выглядит чистой религией — и держится на хозяйстве: корова в традиционном индийском хозяйстве — это тяга, навоз, топливо и молоко, то есть станок, который глупо резать в голодный год, потому что без него не вспашешь следующий. Запрет охраняет станок от соблазна съесть его в трудную весну; религия — это охранная сигнализация хозяйства, и стоит ей громко [36]. Зеркальный разбор — запрет свинины на Ближнем Востоке: свинья — животное влажных лесов, в засушливом земледелии она конкурирует с человеком за пищу и не даёт ни тяги, ни шерсти; содержать её дорого, и дороговизна эта записана в форме запрета [36]. Харриса критиковали за редукционизм — справедливо местами: не всякая вера сводится к кухне, символы живут собственной жизнью. Но метод его — именно как метод, как скальпель — безотказен в главном: он учит задавать вопрос «кому и чем это выгодно телесно?» там, где принято спрашивать «что это значит духовно?». Мораль, выросшая на кухне, и мораль, спущенная с небес, выглядят одинаково. Различаются они под ножом.

3.6. Амартия Сен: голод как провал прав

И вот вершина философского слоя — тот, кто превратил всё вышесказанное в точный инструмент. Амартия Сен, экономист из Бенгалии, в детстве видел голод 1943 года собственными глазами, а в 1981 году опубликовал «Poverty and Famines» — «Бедность и голод», — книгу, изменившую саму науку о голоде [16]. В 1998 году он получил Нобелевскую премию по экономике — за вклад в экономику благосостояния, но ядром этого вклада был именно анализ голода.

Тезис Сена переворачивает интуицию. Интуиция говорит: голод — это когда нет еды. Сен проверил по великим голодам XX века и ответил: почти никогда. Голод — это когда люди теряют доступ к еде, которая есть. Он назвал это подходом через правомочия, entitlements: у каждого человека есть набор законных способов получить еду — вырастить, купить за заработок, обменять, получить по распределению; голод наступает, когда этот набор рушится: зарплата обесценилась, урожай отобрали, работу потеряли, цена улетела [16]. Еда при этом может лежать на складах — и лежала: в Ирландии 1840-х, пока умирал миллион, из страны вывозили зерно и скот, потому что вывоз был прибылен, а умирающие — неплатёжеспособны [16][37]. В Бенгалии 1943 года — кейс этой главы — урожай был пониженным, но не катастрофическим, а умерло, по оценкам, около трёх миллионов: их убила не нехватка риса, а цена риса, паника, спекуляция и решения, принятые в далёких кабинетах [16].

Философский заряд Сена — в смене вопроса. Спрашивать «почему мало еды?» — значит спрашивать о природе. Спрашивать «почему этот человек не смог получить еду?» — значит спрашивать об устройстве общества: о праве, о цене, о распределении, о том, чьи интересы защищены, а чьи — нет. Голод из стихии превращается в диагноз. И диагноз этот политичен до мозга костей: там, где есть демократия и свободная пресса, заметил Сен, великих голодов не бывает — не потому, что там не бывает неурожаев, а потому, что власть, которую можно сменить, и газета, которая кричит о беде, не дают распределительной машине спокойно убивать [16]. Знаменитая формула: ни одна страна с работающей демократией и свободной печатью не знала большого голода. Формула обсуждается, уточняется, есть тонкие случаи — но как закономерность она держится устрашающе. Держи её за рукав — в кейс-разборе она понадобится, потому что Бенгалия 1943 года была колонией. Колония — это страна, где правомочия распределяются без права голоса.

3.7. Мосс: дар, который связывает

Завершим философский слой мыслителем, который реже других попадает в такие списки — и зря, потому что именно он описал ту молекулу, из которой собрано всё: от делёжки мяса у костра до кредитной истории. Марсель Мосс, французский социолог, в 1925 году опубликовал «Очерк о даре» — короткую книгу с долгой тенью [39].

Вопрос Мосса звучит наивно: почему подарок нельзя просто принять и забыть? Ответ, собранный из полевых материалов трёх океанов: потому что дар — это не передача вещи, а создание связи. Дарить, принимать и отдаваться — три обязанности, и третья сильнее первой: не ответить на дар — значит объявить войну или признать себя низшим. Подарок несёт в себе частицу дарящего, говорил Мосс вслед за маори, и потому тянется назад, требуя возврата. Бесплатных даров нет. Есть отложенные счета [39].

Вершина этой логики — потлач, праздник-турнир северо-западного побережья Северной Америки: вожди публично раздают и даже уничтожают богатство — одеяла, медные пластины, лодки, — и чем расточительнее жест, тем выше статус. Разорить себя на глазах у соперника — значит победить его: тот, кто не может ответить таким же расточением, унижен [39]. Читатель европейский видит в этом экзотику. Анатом видит механизм, знакомый по каждому разделу этой главы: излишек, конвертированный во власть. Потлач — это раздача, доведённая до театра; тот же римский хлеб, только с фейерверком. И тот же узел: кто раздаёт — тот главный; кто принял — тот должен; кто должен — тот ниже.

Отсюда у Мосса вырастает мысль, которая ставит точку в нашей философской линейке: обмен — старше товара, долг — старше денег, а связь «дал — принял — обязан» — старше их обоих и прочнее их обоих. Экономика выросла не из меновой страсти, как полагали классики, а из ритуала обязательного ответа. И потому всякая раздача — от вождя с мясом до государства с пособием — несёт в себе скрытую подпись: принявший связан. Запомни эту подпись. В четвёртой главе, где речь пойдёт о добровольном рабстве, она станет главным шрифтом.

Сведём философский слой: Мальтус увидел в голоде закон; Маркс — базис; Руссо — первую ограду; Полани — момент, когда еще повесили ценник; Харрис — кухню под алтарём; Сен — права, провал которых и есть голод; Мосс — молекулу долга в каждой раздаче. Семь оптик, один объект. Теперь — практика. Одна история, разобранный до костей.

4. Кейс-разбор: Бенгалия, 1943

4.1. Декорации

Бенгалия начала 1940-х — дельта Ганга, самая густонаселённая сельская провинция мира: рис, джут, деревни, землевладельцы, арендаторы, батраки — лестница из многих ступеней, где нижние ступени живут от урожая до урожая без всякой подушки [16][38]. Над провинцией — британская колониальная администрация; над администрацией — война: с 1942 года Япония заняла Бирму, главный внешний поставщик риса в регион исчез, а Бенгалия стала прифронтовой территорией, через которую кормили и снабжали армию. Калькутта — военный узел. В деревне — сезонные циклы, которые веками работали сами. Декорация собрана. Теперь смотри, как она загорелась — причём загорелась не от пожара, а от искры, которой в нормальном устройстве было бы нечем жечь.

4.2. Хронология катастрофы

Осень 1942 года: циклон и грибковая болезнь бьют по урожаю аман — главного, зимнего риса. Потери есть, но — ключевой факт всего разбора — урожай 1942–1943 годов по современным реконструкциям был ниже среднего, но не катастрофически ниже; Бенгалия знала худшие урожаи без голода [16]. Затем события выстраиваются в каскад, и каждое звено сделано руками.

Звено первое: паника и изъятие. Власти, опасаясь японского вторжения, проводят «отрицание» — изъятие и уничтожение лодок в прибрежных районах, чтобы не достались врагу; лодка в дельте — это транспорт, рыбалка, торговля, жизнь; десятки тысяч лодок выведены из оборота, рынок парализован ещё до всякой нехватки [38]. Звено второе: цена. Слухи о нехватке — а слухи после изъятия лодок и потери бирманского риса были грамотные — поднимают цену риса; торговцы и крупные держатели запасов придерживают товар: зачем продавать сегодня, если завтра дороже; инфляция военного времени подливает масла, потому что денег в экономике стало больше, а товаров не прибавилось. За 1943 год цена риса взлетает в разы — в разных уездах по-разному, но порядок один: рост кратный [16]. Звено третье: правомочия. Сельская беднота Бенгалии — батраки, рыбаки, ремесленники — получает доход, привязанный не к цене риса; когда рис дорожает в разы, а заработок нет, правомочие этих людей на еду испаряется: они не разорены урожаем, они разорены ценой. Сен показал это по таблицам смертности по профессиям: умирали не землевладельцы — умирали те, кто покупал еду [16]. Звено четвёртое: решения наверху. Колониальная администрация, занятая войной, долго не признаёт масштаба, импорт организуется поздно и скудно, внутренние барьеры между провинциями Индии мешают переброске; роль лондонского военного кабинета и лично премьер-министра Черчилля — предмет острого спора историков: есть суждения о пренебрежении, есть защита, указывающая на военную логику и штормовой фронт в Атлантике; честная формула: о приоритетах решали люди, для которых Бенгалия была строкой сводки, и этот факт важнее любых имён [38]. Итог: с середины 1943 года по деревням и дорогам Калькутты умирают люди — сначала тысячи, потом сотни тысяч; официальная комиссия по расследованию голода (Famine Inquiry Commission) в 1945 году оценит жертв примерно в полтора миллиона, поздние демографические реконструкции — до трёх миллионов и выше; разброс сам по себе рассказывает о качестве учёта мёртвых бедняков [16][38].

4.3. Еда была

Вот точка, в которой кейс Бенгалии ломает шаблон, и её надо проговорить медленно. Голод 1943 года не был голодом пустых полей. Рис в Бенгалии был: на складах торговцев, в закромах зажиточных, в распределительной системе, которая кормила город и армию. Калькутта — город военных и чиновников — была «защищена»: туда еду везли, потому что город умел за себя постоять, а деревня — нет [16]. Вот она, римская механика из психологического слоя, работающая в XX веке: раздача идёт не туда, где нужда, а туда, где угроза. Деревня умирала бесшумно и не опасно. Город жил шумно и опасно. Распределительная машина сделала выбор без всякого злодея — просто по весу угрозы.

Сен оформил это в жёсткий вывод: голод 1943 года был «бум-голодом» — катастрофой на фоне военного оживления экономики, когда одни доходы росли, а другие нет, и цена съела тех, чьи доходы стояли [16]. Запомни выражение. Оно убивает самую уютную сказку о голоде — сказку «просто не хватило». Почти никогда «просто не хватает». Почти всегда кому-то хватает, а кому-то нет, и линия между ними проведена не погодой, а устройством: правом, ценой, властью, голосом. Голод — это способ, которым общество распределяет нехватку. А распределяет общество нехватку всегда снизу вверх по лестнице силы. В первой главе это звучало про козла отпущения. Здесь — про миску. Механизм один.

4.4. Механизм по винтикам

Разберём, как собралась эта катастрофа, — по той же схеме, что Страсбург в первой главе, чтобы было видно: станок один, эпохи разные.

Винтик первый: дефицитный фон — бедная провинция без подушки, где цена еды для нижних слоёв и есть граница жизни. Винтик второй: удар по логистике — изъятие лодок, потеря импорта: не голод, но паралич рынка. Винтик третий: слух и цена — паника поднимает цену, цена оправдывает панику; спекуляция здесь не порок отдельных торговцев, а рациональное действие каждого: придержи — заработаешь, продай — прогадаешь; злодея нет, есть равновесие, в котором все держат, пока слабые не начнут умирать. Винтик четвёртый: асимметрия правомочий — те, кто продаёт труд и покупает еду, против тех, кто держит еду; война усилила асимметрию, накачав экономику деньгами неравномерно. Винтик пятый: безгласность жертв — колония: ни выборов, ни газеты, которая могла бы кричать в полный голос; цензура военного времени; пресса Индии прорвётся к осени — и вот тогда, с фотографиями умирающих на улицах Калькутты, машина наконец заворочается: ещё одно подтверждение формулы Сена, что голод убивает там, где о нём можно молчать [16][38]. Винтик шестой: приоритеты дальних кабинетов — решения принимались в Лондоне и Дели о людях, которых решавшие никогда не видели и не увидят; расстояние — смазка машины. Винтик седьмой: отсутствие единого «виноватого» — спроси, кто убил три миллиона, и получишь в ответ список из циклона, войны, японцев, торговцев, чиновников, логистики, цены. Все правы. Никто не ответственен. Машина не оставляет почерка.

И вот деталь, которая ставит точку в разборе. В архивах той катастрофы есть свидетельства о людях, которые шли из деревни в Калькутту умирать — потому что в городе раздавали рисовую похлёбку, а в деревне не было уже сил. Они умирали на тротуарах города, где в магазинах была еда, — умирали в нескольких шагах от витрины, за стеклом которой лежало то, что могло бы их спасти, и единственной стеной между ними была цена [16][38]. Этот образ — тротуар и витрина — стоит оставить на полях всей главы: в нём весь XX век голода, весь переход от пустого поля к полному магазину, весь ответ на вопрос, почему Сен писал о правомочиях, а не о тоннах. Стекло витрины — самая тонкая стена в истории человечества и самая смертоносная. Её не взламывают, потому что она легальна. Её не штурмуют, потому что она прозрачна: через неё видно еду, и это самое жестокое из всех свойств стен.

4.5. После и выводы

Чем закончилась история Бенгалии? Тем, чем заканчиваются такие истории: комиссией, отчётом, цифрами, которые расходятся, и уроками, которые выучили не все. Комиссия 1945 года назвала свои полтора миллиона и раздала аккуратные упреки; демографы позже пересчитали в сторону увеличения; Сен превратил катастрофу в теорию; теория — в Нобелевскую премию; Нобелевская премия — в параграф учебников [16][38]. Мёртвых это не воскресило, но живым оставило инструмент: теперь, когда где-то в мире начинается голод, первый вопрос специалиста — не «сколько там урожая», а «чи правомочия рушатся и почему молчит пресса». Инструмент хороший. Жаль, что он каждый раз покупается такой ценой.

Для этой книги кейс Бенгалии — доказательство центрального тезиса главы в его окончательной форме. Голод не стихия. Голод — распределение. Распределение — власть. Власть, распределяющая еду, — древнейшая власть на земле, старше короны и веры, и она никуда не делась: она сменила глиняную табличку на цифровую, храмовый амбар на государственный резерв, префекта анноны на чиновника с иным названием. Смотри на миску — увидишь трон. Это не метафора. Это чертёж, и он уже пять тысяч лет в производстве без изменений в узле раздачи.

4.6. Хор голодающих столетий: что повторяется

Прежде чем закрыть кейс, полезно — и страшно — встать над ним и посмотреть на все большие голоды нового времени разом. Ирландия 1845–1852 годов: картофельная фитофтора, миллион умерших, миллион эмигрировавших, — и вывоз продовольствия из голодающего острова, продолжавшийся, потому что соблюдались контракты и цена [37]. Украина 1932–1933 годов: изъятия, запреты, миллионы жертв, споры об умысле при бесспорной машине [18]. Бенгалия 1943 года: еда была, доступа не было [16]. Голландия 1944–1945 годов: оккупация, блокада, точно датированная катастрофа, ставшая лабораторией на десятилетия [19]. Эфиопия 1983–1985 годов: засуха на фоне войны, грузовики помощи на фоне политики, и снова спор о том, чего было больше — непогоды или решений; и здесь исследователи приводят разные акценты, а жертвы считаются сотнями тысяч [16]. Разные континенты, идеологии, века — и страшная однородность конструкции.

Смотри, что повторяется в каждом эпизоде, без исключений. Первое: нигде голод не был чистой непогодой — везде непогода или её эквивалент легли на уже готовую машину: на бедность без подушки, на войну, на власть, которая не отчитывается перед теми, кого кормит. Второе: везде еда в радиусе доступа существовала — за границей, за ценой, за документом; умирающие умирали не в пустыне, а в зоне досягаемости, до которой не дотянулись их правомочия. Третье: везде удар лёг по лестнице снизу — батрак, бедняк, ребёнок, старик, — и везде верхние ступени пережили голод сыто, иногда — прибыльно. Четвёртое: везде информация была заложником: цензура, отрицание, «перегибы на местах», поздние признания; голод двадцатого века — это всегда ещё и битва за право знать, что он идёт [16]. Пятое: везде после приходила комиссия, цифра, спор историков — и ни разу не пришло то, что могло бы называться возмездием за масштаб. Голод не оставляет подсудимых. Голод оставляет тома.

И тогда — последний шаг кейса, самый холодный. Если конструкция повторяется столетиями при полной смене декораций, значит, дело не в декорациях. Дело в чертеже: запас у одних, нужда у других, мерка в руке власти, молчание вместо сигнализации. Пока этот чертёж существует, большой голод не отменён — он в отпуске. Технологии накормили миллиарды, и это правда, и это чудо инженерии, которому глава отдала должное у Мальтуса и азота [32]. Но чудо инженерии не отменяет социологию мерки: в мире, производящем еды больше, чем нужно, люди продолжают голодать — реже, локальнее, но по той же схеме доступа. Отменить голод навсегда нельзя улучшением поля. Можно — только изменением того, кто и как решает, кому есть. А это уже не агрономия. Это следующие главы книги.

5. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА

Блок без украшений. Читай медленно.

Первое. Почти всё, что ты считаешь достижениями цивилизации, — побочный продукт дефицита. Собственность — это защищённый запас. Закон — это тариф и мера, придуманные там, где было что отмерять и отнимать. Государство — это машина по изъятию и раздаче зерна, обросшая за пять тысяч лет флагами, гимнами и конституциями, но не сменившая двигатель. Брак — договор о еде и наследстве, к которому позже приделали чувства. Война — способ перераспределить чужой запас. Ни один из этих институтов не придуман злыми людьми и не придуман добрыми. Они выросли из простого факта, что зерно лежит, а человек голоден. Всё остальное — комментарии [2][8][12].

Второе. Власть над едой — полная власть, и любая власть это знает. Тот, кто контролирует запас и его распределение, не нуждается в убеждении, пропаганде и даже в терроре — ему достаточно списка и нормы. Поэтому всякая власть, от храмового кладовщика Урука до любого позднего наследника, тянется к трём вещам: к запасу, к учёту и к раздаче. Запас — это рычаг; учёт — это глаз; раздача — это рука. И лояльность, купленная миской, — самая надёжная лояльность из существующих, потому что она телесна: её не переубедишь аргументом, её можно только перекормить — а перекармливать некому [16][29].

Третье. Твои принципы — функция твоей сытости. Это самое неприятное предложение в главе, и оно подкреплено лучше всего: лабораторией Киза, полевой работой Шафира и Муллайнатана, архивом всех голодов. Принципы требуют пропускной способности; дефицит её зажимает; дальше — туннель, сужение круга, анестезия справедливого мира, благодарность к раздающему [21][24][28]. Никто не проходил проверку голодом по своей воле дважды. И никто из не проверенных не имеет права на уверенность. Имеет право на надежду — да. На уверенность — нет.

Четвёртое, и последнее. Голод редко бывает нехваткой. В современном мире, который производит еды больше, чем съедает, голод — это почти всегда решение: чьё-то или чьё-то бездействие, что та же подпись. Еда есть; доступа нет; доступ распределяется властью; власть распределяет доступ по весу угрозы, а не по глубине нужды [16]. Значит, вопрос «почему они голодают?» — неправильный вопрос, удобный вопрос, сытный вопрос. Правильный вопрос: «кто стоит между ними и едой — и с какой меркой в руке?». На этот вопрос отвечать неприятно. Именно поэтому его не задают.

6. Ироничная пауза. Инспекция в муравейнике

Жил-был муравейник — образцовый, фондовый, с амбаром. И прилетела в него инспекция, в мундире, с блокнотом.

— Докладывай устройство, — сказала инспекция.

— Устройство простое, — сказал старший муравей. — Все работают, запас общий, распределение по списку. Список составляет амбарный комитет. Комитет назначает охрану амбара. Охрана амбара охраняет комитет. Круг замкнут, как видите, и в круге этом царит гармония.

— А если кто-то возьмёт без списка? — спросила инспекция.

— Таких случаев не бывает, — сказал старший муравей. — Возможность исключена конструктивно: ключ от амбара у комитета, а совесть у муравьёв. Совесть, как показывает практика, великая сила, но с амбаром не совпадает по расписанию.

— А если неурожай? — спросила инспекция.

— Тогда список сокращается, — сказал старший муравей. — Сначала исключаются те, кто дальше от амбара. Потом те, кто дальше от комитета. Потом, в порядке естественной убыли, те, кто задаёт вопросы. Комитет не исключается никогда: комитет — это память муравейника, а амбар без памяти — просто куча зерна.

— Замечательно, — сказала инспекция, записывая. — И как давно существует эта система?

— С незапамятных времён, — сказал старший муравей. — До нас тут жили муравьи без амбара, вольные, счастливые. Вымерли все. В тот год, когда вымерли, у нас как раз появился первый комитет — так что мы считаем дату основоположной. Памятник основателю стоит у амбара. Муравей с меркой. Красивая работа, бронза.

— А что написано на постаменте? — спросила инспекция.

— «Заботится тот, кто отмеряет», — сказал старший муравей. — Раньше была другая надпись, но её заменили. Старая гласила: «Владеет тот, кто отмеряет». Исторически точнее, но муравьи нервничали. А нервные муравьи плохо носят.

Инспекция поставила отметку «устройство удовлетворительное» и улетела. Муравейник продолжил. Продолжает до сих пор. Сменяются только надписи на постаменте.

7. Иллюстрации

Илл. 1. «Амбар-собор».Тёмная гравюра: гигантское зернохранилище, выстроенное как готический собор — стрельчатые арки, но вместо витражей — зерновые мерки, вместо шпиля — огромная мерная кадка. У подножия — тонкая нить очереди из маленьких фигур с пустыми мисками, уходящая в темноту. На верхней площадке, в единственном пятне света, — одинокая фигура с меркой в руке. Композиция вертикальная, свет — сверху вниз, от мерки к очереди.

Илл. 2. «Весы».Гравюра: огромные рычажные весы в центре листа. На левой чаше — горка зерна; на правой — свитки законов, ключи, маленькие человеческие фигуры. Чаша с зерном перевешивает. Коромысло держит рука, выходящая из тьмы — видна только рука, без тела. Фон — стены с клинописными знаками, тонущие в темноте. Свет — узкий луч на чаши.

Илл. 3. «Пустая миска».Гравюра: стол, за ним — сутулая фигура, перед фигурой — пустая миска. Из миски поднимается дым, и в дыму — город: дома, храмы, короны, корабли, армии. Всё, построенное голодом, вырастает из пустоты миски. Фигура не видит дыма — смотрит в миску. Стил — плотная штриховка, чёрный фон, свет только на миске и дыме.

Илл. 4. «Осада».Гравюра: город за стеной, но стена сложена не из камней — из мешков зерна и хлебов. Снаружи, в темноте, — осаждающее войско, маленькие огни. Внутри, на стене, — силуэты горожан, смотрящих не на врага, а на стену: они смотрят на еду, которая их защищает. Небо — чёрное, с одной выгравированной звездой. Без подписей.

Илл. 5. «Раздача».Гравюра: сверху, из светлого прорыва в тучах, опускается крупная рука с горстью зерна; внизу — лес поднятых рук. Зерно, падая, превращается в нити — тонкие светящиеся нити тянутся от зёрен к запястьям поднятых рук, как нити марионеток. Композиция диагональная, контраст резкий: свет только на руке-раздающем и на нитях. Фон — толпа в полной темноте.

8. Финал. Вопрос-переворот

Эта глава началась с глиняной таблички — квитанции о зерне. Закончим признанием: табличка не старела. Сменился материал — глина, пергамент, бумага, сервер, — не сменилась строка: кому, сколько, от кого, за что. Ты живёшь внутри этой строки, как жил крестьянин Урука и батрак Бенгалии, и отличие твоего положения от их — не в устройстве мира, а в текущем остатке на твоём счету. Остаток — вещь временная. Устройство — вечное.

Поэтому вопрос главы, заданный в начале, теперь взвешивается иначе: **сколько дней голода отделяет тебя от твоих принципов?** Миннесота отвечает цифрой, архив отвечает свидетельством, и обе цифры меньше той, что назначает самолюбие. Но книга не имела бы смысла, если бы оставляла только счёт. В знании — не утешение, но возможность: тот, кто знает, что принципы требуют сытости, бережёт не только миску — он бережёт саму возможность оставаться собой, и перестаёт путать собственную добродетель с собственным достатком. Это скромное знание. Оно не спасает мир. Оно спасает от высокомерия — а высокомерие, как показала Бенгалия, обходится дороже всего.

И ещё одно наблюдение на пороге — то, ради которого, возможно, и стоило читать всё вышесказанное. В этой главе власть над едой показана как машина, и машина беспощадна. Но у той же миски есть и другая сторона, и честная анатомия обязана её зафиксировать: весь человеческий опыт делёжки — от мяса у костра до последней корки в блокадном дневнике — это опыт тех, кто внутри машины дефицита умудрялся оставаться людьми. Машина решает многое, но не всё: в щели между нормой и жестом втиснута вся история человечности — кто-то делился, когда не выгодно; кто-то отдавал, когда не видно; кто-то кормил чужих детей, не ведя счёта. Это не отменяет ни одного винтика механизма — но и механизм не отменяет ни одного такого жеста. Держать в голове обе правды сразу — вот позиция, из которой написана эта книга: не утешение и не цинизм, а точный чертёж плюс уважение к тем, кто чертежу не подчинился.

Следующая глава — о том, что происходит, когда голод и страх соединяются в одну руку: об анатомии жестокости. Там будет хуже. Там уже нельзя будет сказать «это биология» — придётся сказать «это выбор». Готовься.

Сноски к главе 2

[1] О происхождении письменности из учёта: Schmandt-Besserat D. *Before Writing*. Austin: University of Texas Press, 1992; Englund R. K. *Archaic Administrative Texts from Uruk*. Berlin: Gebr. Mann, 1994.

[2] Храмы-склады Шумера; зерновая природа ранних государств: Scott J. C. *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. New Haven: Yale University Press, 2017.

[3] «Первоначальное общество изобилия»: Sahlins M. *Stone Age Economics*. Chicago: Aldine-Atherton, 1972 (доклад 1966 г.). Критика: Bird-David N. *Beyond «The Original Affluent Society»* // *Current Anthropology*. 1992. Vol. 33(1).

[4] Зернохранилище Дхра (Иордания), ок. 9,3–9,5 тыс. лет до н. э.: Kuijt I., Finlayson B. *Evidence for food storage and predomestication granaries 11,000 years ago in the Jordan Valley* // *PNAS*. 2009. Vol. 106(27).

[5] Война и земледелие; экономика набегов: Keeley L. H. *War Before Civilization*. N.Y.: Oxford University Press, 1996.

[6] Ухудшение здоровья при переходе к земледелию: Larsen C. S. *Biological changes in human populations with agriculture* // *Annual Review of Anthropology*. 1995. Vol. 24; Cohen M. N., Armelagos G. J. (eds.) *Paleopathology at the Origins of Agriculture*. Orlando: Academic Press, 1984.

[7] Законы Ур-Намму, ок. 2100 г. до н. э.: Roth M. T. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. Atlanta: Scholars Press, 1995.

[8] Законы Хаммурапи, ок. 1754 г. до н. э. (о мерах, найме, долгах, §§ 96–126, 257–258 и др.): там же; рус. пер.: Законы Хаммурапи / пер. И. М. Дьяконова // *Вестник древней истории*. 1952. № 3.

[9] Салическая правда, нач. VI в.; рус. пер.: Салическая правда / пер. Н. П. Грацианского. М.: Госюриздат, 1950.

[10] О «кривых весах» в древневосточных и библейских текстах: Притчи 11:1; 20:23; Книга пророка Амоса 8:5; ср. шумерские гимны с «праведной меркой».

[11] Месопотамские эдикты о «восстановлении справедливости» (*mīšarum*) и прощении долгов: Graeber D. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn: Melville House, 2011; Hudson M. ... and forgive them their debts. Dresden: ISLET-Verlag, 2018.

[12] Собственность, наследование и контроль над женщиной: Энгельс Ф. *Происхождение семьи, частной собственности и государства*. 1884; современная оценка и оговорки: Goody J. *The Development of the Family and Marriage in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

[13] Степь и житница; набег как экономика: Khazanov A. M. *Nomads and the Outside World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; Barfield T. J. *The Perilous Frontier*. Cambridge, MA: Blackwell, 1989.

[14] Осада Самарии: 4 Царств 6:24–29 (ослиная голова за восемьдесят сиклей серебра; спор двух женщин).

[15] Осада Иерусалима 70 г. н. э.; эпизод с Марией из Бет-Эзубы: Иосиф Флавий. *Иудейская война*, кн. VI, гл. 3; о голоде в городе — кн. V. Детали хроник истории читают с оговорками.

[16] Правомочия (entitlements) и голод без нехватки еды; Бенгалия 1943; демократия и пресса: Sen A. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press, 1981; Sen A. *Development as Freedom*. N.Y.: Knopf, 1999.

[17] Союзническая блокада Германии 1914–1919 и её продление после перемирия: Vincent C. P. *The Politics of Hunger: The Allied Blockade of Germany, 1915–1919*. Athens: Ohio University Press, 1985. Оценки жертв сильно расходятся.

[18] Голод 1932–1933 гг. в СССР: оценки смертности 3,5–5+ млн (Украина и др. регионы); документированные меры государства; спор о намеренности: Conquest R. *The Harvest of Sorrow*. N.Y.: Oxford University Press, 1986; Davies R. W., Wheatcroft S. G. *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933*. Basingstoke: Palgrave, 2004 (позиции авторов различаются — обе приведены сознательно).

[19] Голландская голодная зима 1944–1945 («Hongerwinter») и долгосрочные эффекты: Stein Z. et al. *Famine and Human Development: The Dutch Hunger Winter of 1944–1945*. N.Y.: Oxford University Press, 1975; Heijmans B. T. et al. *Persistent epigenetic differences...* // PNAS. 2008. Vol. 105(44).

[20] Блокада Ленинграда: норма 125 г в ноябре–декабре 1941 г.; разброс оценок жертв; дневники как источник: Блокадная книга / сост. А. Адамович, Д. Гранин. М.: Советский писатель, 1982; Salisbury H. *The 900 Days*. N.Y.: Harper & Row, 1969.

[21] Миннесотский эксперимент: Keys A., Brožek J., Henschel A., Mickelsen O., Taylor H. L. *The Biology of Human Starvation*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1950 (2 vols.; полевые фазы — 1944–1945).

[22] Делёжка и подвиги в условиях голода — свидетельства: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга; Hartman G. (ред.), воспоминания очевидцев голода 1932–1933 гг. — сборники устных историй (подбор и интерпретация свидетельств — предмет дискуссий).

[23] Грелин и лептин; энергетический гомеостаз: Cummings D. E. et al. *A preprandial rise in plasma ghrelin levels...* // Diabetes. 2001. Vol. 50(8); Friedman J. M., Halaas J. L. *Leptin and the regulation of body weight in mammals* // Nature. 1998. Vol. 395.

[24] Наука о дефиците; пропускная способность; туннелирование: Mullainathan S., Shafir E. *Scarcity: Why Having Too Little Means So Much*. N.Y.: Times Books, 2013.

[25] Фермеры сахарного тростника до/после урожая; эффект ~13 пунктов IQ: Mani A., Mullainathan S., Shafir E., Zhao J. *Poverty impedes cognitive function* // Science. 2013. Vol. 341(6149).

[26] Маслоу и пирамида: Maslow A. H. *A theory of human motivation* // Psychological Review. 1943. Vol. 50(4); о том, что пирамиду нарисовали позже и подтверждений жёсткой лестницы нет: Wahba M. A., Bridwell L. G. *Maslow reconsidered...* // Organizational Behavior and Human Performance. 1976. Vol. 15(2).

[27] Сжатие круга «своих» при дефиците — связка с данными первой главы: Sherif M. et al. *The Robbers Cave Experiment*. 1961; Tajfel H. et al. 1971.

[28] Вера в справедливый мир как анестезия: Lerner M. J. *The Belief in a Just World*. N.Y.: Plenum Press, 1980.

[29] Аннона и раздача зерна в Риме; префект анноны; закон Клодия 58 г. до н. э.: Garnsey P. *Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; Erdkamp P. *The Grain Market in the Roman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

[30] «Panem et circenses»: Ювенал. Сатиры, X, 77–81.

[31] Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. 1798 (анонимно; 2-е изд. — 1803).

[32] Азот и «зелёная революция»: Smil V. *Enriching the Earth: Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production*. Cambridge, MA: MIT Press, 2001; о Борлоуге: Borlaug N. E. *Nobel Lecture*, 1970.

[33] Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. 1859; Маркс К., Энгельс Ф. *Немецкая идеология*. 1845–1846.

[34] Руссо Ж.-Ж. *Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми*. 1755.

[35] Полани К. Великая трансформация. 1944; о «вплетённости» экономики и огораживаниях: там же, гл. 3–6.

[36] Культурный материализм; священная корова и запрет свинины: Harris M. *Cannibals and Kings: The Origins of Cultures*. N.Y.: Random House, 1977; Harris M. *Cows, Pigs, Wars and Witches*. N.Y.: Random House, 1974.

[37] Ирландский голод 1845–1852 гг. и вывоз продовольствия: Woodham-Smith C. *The Great Hunger: Ireland 1845–1849*. L.: Hamish Hamilton, 1962; интерпретации у историков различаются в деталях.

[38] Бенгалия 1943 г.: хронология, «отрицание» лодок, роль администрации; комиссия 1945 г.; спор о роли военного кабинета: *Famine Inquiry Commission. Report on Bengal*. Delhi, 1945; Mukerjee M. *Churchill's Secret War*. N.Y.: Basic Books, 2010 (критическая позиция); Tauger M. B. — альтернативные оценки в *Journal of Genocide Research* (дискуссия 2010-х). Позиции приведены как спорные.

[39] Дар, взаимность и потлач: Mauss M. *Essai sur le don*. 1925 (рус. пер.: Мосс М. *Очерк о даре* // *Социальные функции священного*. СПб.: Евразия, 2000).

[40] Разрыв эмпатии между «горячим» и «холодным» состояниями: Loewenstein G. *Hot-cold empathy gaps and medical decision making* // *Health Psychology*. 2005. Vol. 24(4); Loewenstein G., O'Donoghue T., Rabin M. *Projection bias in predicting future utility* // *Quarterly Journal of Economics*. 2003. Vol. 118(4).

[41] Карточные системы двух мировых войн; британское нормирование и его выравнивающий эффект: Zweiniger-Bargielowska I. *Austerity in Britain: Rationing, Controls, and Consumption 1939–1955*. Oxford: Oxford University Press, 2000; о теневых рынках и обходных практиках при дефиците: Ledeneva A. *Russia's Economy of Favours*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[42] «Разборчивость» общества для государства; бегство от учёта: Scott J. C. *Seeing Like a State*. New Haven: Yale University Press, 1998; Scott J. C. *The Art of Not Being Governed*. New Haven: Yale University Press, 2009.

[43] «Книга Страшного суда» (*Domesday Book*), 1086 г.: Maitland F. W. *Domesday Book and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 1897; современное изложение: Roffe D. *Domesday: The Inquest and the Book*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Конец главы 2 из 12.

ГЛАВА 3. АНАТОМИЯ ЖЕСТОКОСТИ

Я вскрываю то, о чём не принято говорить. Комфорт здесь не предусмотрен.

Войны и насилие: расчеловечивание; подчинение; роли; банальность зла; «обычные люди»; заразительность жестокости.

Вопрос главы: на каком шаге ты бы остановился? Ты уверен?

Открытие. Звонок в дверь

Начнём с вопроса, на который у каждого читателя уже готов ответ. Ответ заготовлен, выучен, отполирован годами правильных книг и правильных фильмов. Вопрос такой: мог ли ты — лично ты, с твоим воспитанием, твоей совестью, твоими принципами — оказаться по другую сторону? Там, где стояли они. В рукаве того мундира. За тем столом, где подписывали. В том строю.

Твой ответ известен заранее, и он ошибочен. Не потому, что он «да» или «нет» — а потому, что он мгновенный. Мгновенность — верный признак того, что отвечает не разум, а охрана. Психика охраняет образ себя так же ревностно, как тело охраняет кожу, и первое её движение при вопросе о жестокости — отгородиться: «это не про меня, это про них, они были другие». Удобная конструкция: зло — это то, что делают другие, в другое время, в другом месте, по другим причинам. Эта глава написана, чтобы конструкцию разобрать. Не оправдать — разобрать. Разница между этими словами — вся книга.

Зафиксируем метод сразу, потому что дальше будет материал, рядом с которым любая оплошность в словах становится соучастием. Первое правило: объяснение — не оправдание. Хирург, вскрывающий заражённый орган, не оправдывает заражение — он показывает, как оно устроено, чтобы следующий пациент имел шанс. Второе правило: никаких демонов. Демонология — утешение для тех, кто не хочет понимать: стоит назвать палача демоном, как он перестаёт быть похожим на тебя, и урок считается выученным. Не выучен. Палач был человеком, и именно это делает его страшным; будь он демоном, глава была бы не нужна — была бы нужна молитва. Третье правило: материал этой главы ломал судьбы самим исследователям. Один из главных её героев — батальон полицейских резервистов, середнячки из Гамбурга, люди в годах, семейные, никакие не фанатики; учёный, который их изучил, потом всю жизнь возвращался к ним, потому что не смог забыть [1]. Читатель, который пройдёт главу без внутреннего движения, либо не читал, либо уже знает о себе то, о чём остальным ещё предстоит узнать.

В первой главе вскрыт страх — фундамент. Во второй — дефицит: голод, амбар, мерка. Теперь вскрывается то, что получается, когда фундамент и дефицит загружаются в машину: жестокость. Не врождённое зверство — о нём поговорим и увидим, что оно редко, — а производственная жестокость, конвейерная, будничная, выполняемая нормальными людьми по понедельникам, с обеденным перерывом. Это самая страшная глава книги, и она же самая необходимая. Потому что все остальные механизмы — власть, распределение, норма, вера — держатся в конечном счёте на том, что где-то в конце цепочки стоит человек, который готов нажать. Эта глава — о том, как человек становится готовым. И о том, что расстояние от тебя до него — не стена, а лестница. По лестнице ходят. Шаг за шагом. Никто не прыгает с вершины.

Прежде чем идти в историю, поставь эксперимент дома — он дешевле йельского и точнее, потому что испытуемый в нём ты. Комната обычная: офис, вторник, конец квартала. На столе документ — список. Список чего, неважно: машина умеет в любые списки — на сокращение, на отказ, на выселение, на изъятие, на понижение в статусе; технология старше бюро и переживёт его. От тебя требуется виза, четвёртая по маршруту: до тебя подписали трое, после тебя — архив. Ты читаешь. Фамилии обычные, люди обычные, основание сформулировано корректно, ссылки на пункты приведены. Всё законно — вот в чём дьявольская изысканность конструкции: подписать предлагается не преступление, подписать предлагается порядок. Коллега подписал до тебя — ты видел его росчерк. Начальник ждёт — ты слышал его «ты же понимаешь». Группа смотрит — ты чувствуешь это затылком. Подпишешь — ничего не будет: ни сразу, ни тебе. Не подпишешь — будет разговор, будет характеристика, будет слово «некомандный», которое в жизни системы значит больше, чем слово «нравственный». Заметь, сколько узлов

этой главы уже стоит в твоей комнате, пока ты держишь ручку: приказ, группа, лестница из четырёх подписей, расстояние до последствий списка, лексика «процедуры» и «основания». Пять винтиков — и ты ещё не вышел из офиса на обед. Эта глава начинается не с Юзефува и не с Йеля. Она начинается со вторника. Юзефув — это просто вторник, доведённый системой до конца лестницы; вольтаж на последней ступени страшнее, конструкция та же. Поэтому не читай дальше как посетитель музея. Читай как человек, у которого в ящике стола лежит ручка, а четвёртая виза в маршруте никому не покажется странной — в этом весь смысл маршрутов.

Начнём с честного вопроса: а было ли вообще время, когда жестокости не было? Ответ короткий: нет. Ответ длинный — исторический слой.

1. Исторический слой

1.1. Жестокость как фон: мир, где боль была зрелищем

Прежде чем говорить о механизмах, надо откалибровать прибор. Современный читатель судит о жестокости с позиции общества, которое объявило причинение боли постыдным и вытеснило его из публичного пространства. Позиция удобная — и очень молодая. Почти вся человеческая история прошла на другом фоне: боль была публичной, нормативной и зрелищной.

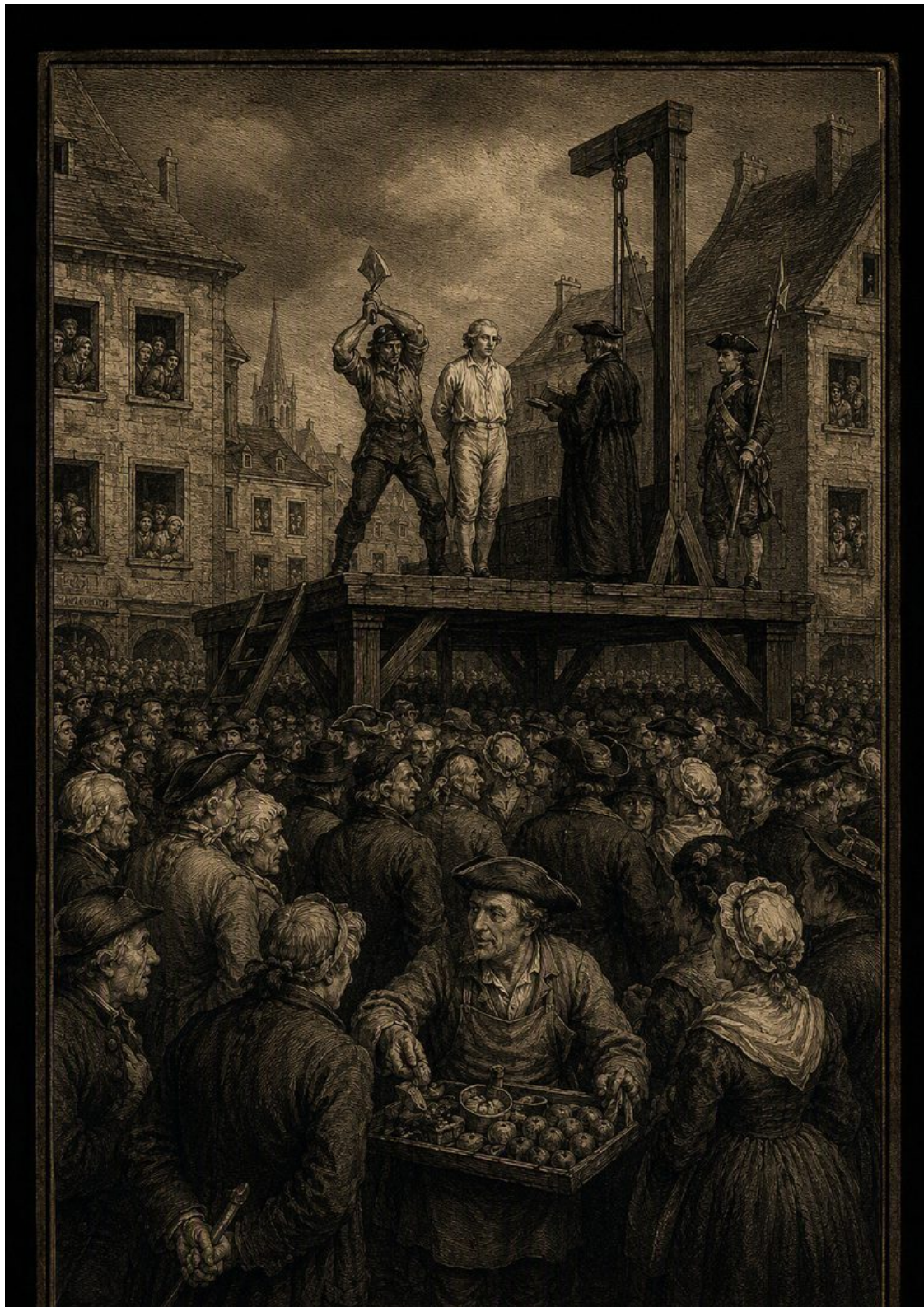
Калибровка по фактам. Публичные казни в Европе — не позднесредневековое варварство, как думают многие, а устойчивое учреждение, просуществовавшее до нового времени: казнь на площади — это спектакль, предупреждение и праздник одновременно, с торговцами пирогами вокруг эшафота. Мишель Фуко открывает «Надзирать и наказывать» (1975) описанием казни Дамиена в 1757 году — подробным, протокольным, по страницам свидетелей: четвертование на Гревской площади, продуманное как произведение, с регламентом часов и жестов [2]. Через три четверти века после этого зрелища последняя публичная гильотинирование во Франции состоится в 1939 году — уже при кинокамерах. Заметь сроки: от протокольного четвертования до последнего публичного отсечения — меньше двух столетий, а до наших дней от того последнего — одна человеческая жизнь. Милосердие, которое кажется сегодня свойством человека, — вчерашнее изобретение, оно младше фотографии.

Античность держит тот же фон. Римские игры — не придирка к одному городу: система массовых увеселений смертью, охватывавшая всю империю, с амфитеатрами в каждом сколько-нибудь заметном городе; Колизей вмещал, по оценкам, около пятидесяти тысяч зрителей, и зрелище включало казни, боевые травы, гладиаторов [3]. Историки спорят о числах — сколько именно погибло за века игр, — но порядок исчисляется сотнями тысяч, и главное не в числе, а в функции: смерть как общественное зрелище была нормой, одобряемой образованнейшими людьми эпохи. Плиний, Цицерон с оговорками, толпа без оговорок. Исключения — Сенека с его неудобством, ранняя христианская критика — существовали и ценны именно как исключения: они показывают, что мысль «это не должно быть зрелищем» была доступна, но маргинальна [3]. Норма была иной. Норма почти всегда иная, чем кажется потомкам.

Средневековая и нововременная Европа добавила к фону религиозную раму: аутодафе инквизиции — казни еретиков как торжественные литургические действия, с проповедями, процессиями, трибунами для знати [4]. Охоты на ведьм XVI–XVII веков — эпидемия процессов по большей части над женщинами, с десятками тысяч казнённых по оценкам, которые у историков расходятся, но сходятся в порядке: это была не стихия черни, а юридическая машина с процедурами, допросами, схоластическими трактатами [5]. Народная культура того же фона: публичные наказания, позорные столбы, калечащие приговоры — всё это не сбои, а стандартное оборудование порядка. Стоит сказать прямо и неприятно: предок читателя, какого бы века ни взять, скорее всего, считал публичную боль законной частью пейзажа — как налоги и погоду. Не потому, что был чудовищем. А потому, что фон был таким. Фон — вещь невидимая: его не замечают, его дышат.

Зачем эта калибровка? Чтобы снять первую и главную иллюзию главы: иллюзию, что жестокость — аномалия, вторгающаяся в нормальный мир. Нет. Жестокость — исходный фон, а милосердие — поздняя инсталляция поверх него, инсталляция хрупкая, дорогая и до сих пор не завершённая. Стигматы старого фона — везде: в тяге к зрелищу чужой беды, в злорадстве толпы, в том, как быстро публичная расправа снова становится приемлемой, стоит переименовать её в справедливость. Философ Юдит Шкляр в «Обыкновенном пороке» (1984) пред-

ложила считать жестокость первым из пороков — тем, которого следует избегать прежде всех прочих, и аргументировала просто: жестокость — единственный порок, который нельзя ни во что переплавить, остальные ещё иногда служат людям [6]. Запомни её шкалу: она понадобится, когда мы начнём изучать, как нормальный человек подаёт ток.



Илл. 1

Илл. 1. «Площадь, 1757». Эпоха зрелища: эшафот в центре, кольцо зрителей, окна наполнены головами, торговец пробрался в первый ряд. Жестокость как общественный сезон, вход свободный.

1.2. Людоедство ума: как делается «не-человек»

Теперь — первый механизм, без которого ничего из дальнейшего не работает. Механизм называется расчеловечиванием, и он старше любой цивилизации, потому что основан на том, что уже вскрыто в первой главе: круге «своих».

Напомним фундамент: мораль у человека локальна. Внутри круга своих действуют жалость, стыд, запрет на убийство; за пределами круга — всё это ослаблено или выключено. Это не порок системы, это её заводская настройка: существо, которое жалеет всех одинаково, проигрывает существу, которое жалеет своих. Отсюда следует страшная, но логичная инженерия: чтобы заставить человека делать с другим человеком то, что запрещено делать со своими, нужно не сломать ему мораль — нужно перевести жертву за пределы круга. Мораль при этом остаётся целой, невредимой, работающей. Палач продолжает любить детей, жалеть собаку, помогать соседу. Его мораль не сломана — она просто не распространяется на жертву, потому что жертва оформлена как не-человек.

Технология оформления выверена тысячелетиями и всюду одинакова. Шаг первый: язык. Жертве дают имя нечеловеческого порядка: вредитель, паразит, таракан, крыса, зараза, недочеловек, животное, еретик, ведьма, варвар. Филологи и историки собрали эту лексику по всем эпизодам массового насилия — и совпадения жуткие: перед резнёй всегда сначала идёт словесное зверьё [7]. Шаг второй: образ. Жертва изображается не как отдельный человек с лицом, а как тип, масса, стая — лица стираются, остаётся морда. Шаг третий: юмор. Жертва становится посмешищем — над не-человеком смеются, и смех, как заметил ещё Бергсон, есть моментальная анестезия сердца: смеяться над страдающим можно только выключив эмпатию [8]. Шаг четвёртый: процедура. Жертва получает номер, категорию, статью — и бюрократия, эта великая абстрагировавательница, завершает то, что начали слова: теперь перед исполнителем не человек, а объект учёта.

Исторический материал показывает механизм в действии с неизменностью, от которой мулит. Владимир Солонари, изучавший очистку Молдавии в 1941 году, показывает по документам, как за недели официальная лексика превращала соседей в категории [7]. Лица тут не важны — важен станок. Он одинаков в документах инквизиции, в листовках перед резнёй в Руанде 1994 года — где жертв по радио называли тараканами, и это зафиксировано на процессе, — в академических томах евгеники начала XX века, написанных, кстати, людьми с учёными степенями и хорошими манерами [7][9]. Станок не знает эпох. Станок знает только вход и выход: на входе — человек, на выходе — категория, с которой можно работать.

И вот точка, где исторический слой смыкается с психологическим: расчеловечивание — не обман, который проворачивают над исполнителем. Расчеловечивание — услуга, которую ему оказывают. Человеку, которому предстоит делать страшное, тяжело; слово «таракан» облегчает задачу, снимает вину, усыпляет зеркало. Исполнитель охотно принимает слово, потому что слово — анестезия. Поэтому расчеловечивание так заразно: его не навязывают силой — его раздают как обезболивающее, и очередь за ним не нужно организовывать. Очередь собирается сама. Об этом — Кристофер Браунинг и его «обычные люди», но сначала — история войны как школы жестокости.

1.3. Война как фабрика: дрессировка убийцы

Второй исторический механизм — война. Не как героика и не как политика, а как производственный процесс: война — это фабрика, перерабатывающая гражданского человека в того, кто может убивать на заказ.

Сырьё этой фабрики известно: обычные люди, снятые с гражданки. Проблема фабрики тоже известна, и она неожиданная: человек убивать не хочет. Точнее — хочет крайне плохо. Здесь нужно остановиться на знаменитом исследовании, потому что оно одновременно знаменито и проблемно, и обе стороны надо назвать честно. Сэмюэл Маршалл, американский военный историк, в книге «Men Against Fire» (1947) утверждал: по его полевым опросам после боёв Второй мировой, лишь около четверти американских солдат в пехоте стреляли в противника, даже находясь под огнём и имея цель; остальные стреляли в сторону, не стреляли вовсе, занимались вспомогательным [10]. Вывод Маршалла потряс армию: вид не убивает — вид подчиняется, прячется, помогает, но не нажимает. И вывод этот запустил перестройку обучения: армии мира перешли от стрельбы по круглым мишеням к стрельбе по человекообразным, всплывающим, к мгновенным рефлекторным реакциям, к дрессировке «увидел силуэт — выстрелил», и доля стреляющих, по тем же оценкам, выросла в Корее и Вьетнаме кратно [10]. Всё это красиво, поучительно и — вот вторая сторона — методологически шатко: опросы Маршалла не сохранились, его цифры критиковали десятилетиями, серьёзные историки считают, что точное соотношение он высосал из нестрогих данных [10]. Честная формула по правилам этой книги: цифра Маршалла — спорная; феномен — нет. Что в бою значительная часть солдат не стреляет на поражение, а обучение это исправляет, — подтверждается независимо от Маршалла: психиатрией, статистикой ранений и учебными реформами армий, которые зачем-то же провели.

Зачем армиям понадобилось дрессировать то, что по идее должно быть естественно? Ответ — золотой ключ к главе: потому что запрет на убийство своих — один из самых глубоких запретов вида. Дэйв Гроссман, офицер и психолог, написал об этом книгу «On Killing» (1995): непосредственное убийство в бою даётся солдату тяжело, ценой психической травмы — и армия тратит годы на то, чтобы обойти запрет тремя способами: дистанцией (стрелять легче издали, из прицела, с высоты, из-за кнопки — чем дальше от лица жертвы, тем легче), рассеиванием ответственности (стреляет взвод, батарея, экипаж — никто лично), и властью приказа (решение принято наверху, исполнитель — инструмент) [11]. Все три способа — знакомые детали: это те же ручки, что крутит расчеловечивание, только в зелёной униформе. Фабрика войны — это не фабрика монстров. Это фабрика обходных путей вокруг нормального человека, которому страшно и тошно. И заметь: фабрика работает. Каждая армия мира — доказательство, что обходные пути находятся в считанные недели. Учебный лагерь длится месяцы. Вот и весь срок переплавки.

Исторический вывод из этого раздела короткий и холодный: война не пробуждает в человеке зверя — война строит вокруг человека коридор, в котором убийство становится процедурой, а вопрос «зачем» уходит вверх по иерархии, к тому, кто не стреляет. Гёте сказал это точнее всех, хотя говорил о другом: нет ничего страшнее активной толпы, которой дали порядок. Коридор, впрочем, кончается, и солдат возвращается домой — с тем, что фабрика в него встроила. Далее по тексту — о том, что возвращается: о травме исполнителя. Но сначала — о том, как жестокость становится делом толпы, а не только армии.

1.4. Резня соседей: когда убивает не армия

Третий механизм — страшнее второго, потому что он обходится без мундира. Армия — понятно: приказ, дистанция, враг. А вот когда режут соседей — людей, с которыми вчера торговали, женились, хоронили, — вот здесь объяснение исчерпывает запас удобных слов.

Материал обширен и повторяем. Погром — институт с документированной историей веков: механику его мы разобрали на Страсбурге в первой главе. Руанда, 1994 год: за сто дней убито, по принятым оценкам, от пятисот тысяч до восьмисот тысяч человек — и убивали преимущественно не солдаты: убивали на дорогах, на блокпостах, в холмах, обычные люди с мачете, соседи, родня, прихожане; скорость убийства превышала скорость немецкой машины смерти по темпу, и это при почти полном отсутствии техники [9]. Один из самых страшных документов эпохи — исследования, показывающие, как участвовали: кто-то из страха (не убьёшь — убьют тебя), кто-то за имущество (дом, поле, корова жертвы), кто-то из послушания (власть холма велела), кто-то потому что все [9]. Джанис Гросс в книге «Соседи» (2001) разобрал погром в Едвабне, Польша, 1941 год: город, где половина жителей сожгла другую половину в амбаре, — без немцев за спиной в тот день, своими руками, соседями [12]. Книга вызвала национальный скандал — скандалился не факт (факт подтвердило следствие), а именно невозможность принять: соседи. Индия при разделе 1947 года: поезда смерти, деревни против деревень, оценки от сотен тысяч до двух миллионов погибших при огромном разбросе данных — и снова преимущественно руки соседей [13].

Объяснять это «вековой ненавистью» — значит ничего не объяснять, и вот почему: вековая ненависть жила в тех же местах вековыми же десятилетиями мирной жизни. Торговали, праздновали, выдавали дочерей. Ненависть — топливо, но топливо лежит годами без огня; для резни нужен поджигатель и, главное, снятие тормозов. Снятие тормозов — это всегда сигнал сверху: власть либо приказывает, либо разрешает, либо исчезает, — и в тот момент, когда наказание за резню отменяется, а награда (имущество, страх соседа, одобрение толпы) включается, механика первой главы разворачивается за дни: круг «своих» сжимается, словесное зверьё входит в обиход, толпа даёт каждому рассеяние ответственности. Эйнштейн говорил, что мир опасен не теми, кто творит зло, а теми, кто смотрит. Формула красивая, но неточная: смотрящие — это ещё не дно. Дно — это когда смотрящим предлагают поучаствовать, и очередь образуется. Образуется не из злодеев — в том-то и вся эта глава.

Особое место — женщины и дети в таких эпизодах. Принято думать, что резня — дело мужских рук; статистика эпизодов показывает сложнее: мужчины режут, но резня держится всем обществом — теми, кто доносит, грабит после, молчит до, одобряет вовремя. Жестокость — это экосистема, а не профессия. И восстанавливается общество после неё удивительно быстро и удивительно молча: соседи снова торгуют, спустя десятилетия внуки ходят в одну школу. Мирная жизнь возвращается, потому что она и была нормой; резня — срыв, краткий, концентрированный, как лихорадка. Вывод неудобный до дрожи: лихорадка не требует больного общества. Достаточно здорового общества и трёх дней снятых тормозов.

1.5. Машина: бюрократия смерти

Четвёртый исторический механизм — вершина и дно одновременно: индустриализация жестокости. Всё, что было сказано до этого места, касалось вспышек — войн, погромов, резни. Но XX век изобрел нечто иное: жестокость как непрерывный производственный процесс, с планом, нормой, отчётностью и табелем.

Голокост — главный и самый изученный пример, и в этой главе он не «упоминается», а разбирается как инженерная система, потому что именно как система он и страшен. Перед всякой оптикой из будущего он выглядит вакуумом зла, демоническим исключением. Историк, читающий документы, видит иное: совещания, протоколы, тарифы, графики, переписку о транспортных ставках, обсуждение себестоимости [1][14]. Ванзейская конференция января 1942 года — координационное совещание чиновников, полтора часа и завтрак: на нём не изобретали зло — на нём сводили ведомости ведомств [14]. Рауль Хилберг, автор фундаментальной «Уничтожения европейских евреев» (1961), описал машину как процесс с тремя классическими стадиями: определение (кто подлежит), концентрация (изъятие из общества), уничтожение (изъятие из жизни) — и подчёркивал: машина работала силами обычных административных структур, без единого центра дьявольского гениального замысла, через исполнение функций десятками тысяч функционеров [15]. Вот слово, которое держит весь раздел: функция. Не страсть, не фанатизм — хотя и того и другого хватало, — а функция: клерк составляет список, железнодорожник планирует состав, бухгалтер сводит расходы, юрист оформляет изъятие имущества. Каждый делает маленький кусок, ни у одного в руках нет целого. Бюрократия — это машина по рассеиванию ответственности, доведённая до промышленной точности: ответственности нет нигде, потому что она размазана по всем, а размазанное по всем не давит ни на кого.

Ханна Арендт, наблюдавшая процесс над Адольфом Эйхманном в Иерусалиме в 1961 году, сформулировала фразу, которая стала названием целой эпохи мысли: «банальность зла» [16]. Эйхманн на скамье был не демоном — был педантичным функционером, говорящим канцеляритом, прячущимся за приказами и неспособным, по наблюдению Арендт, думать с позиции другого человека. Вывод Арендт изуродовали критики и публика — её обвинили в оправдании; на самом деле она сделала нечто более страшное: она показала, что чудовищное зло может совершаться людьми без чудовищной глубины, просто потому, что человек перестаёт думать и начинает исполнять. Банальность зла — это не мелкость зла; зло было огромным. Банальность — про исполнителя: он оказался скучным. Вот что невозможно простить — и вот почему книга Арендт скандальна до сих пор: демона простить легче, демон хотя бы велик. Скучного человека за пультом простить нельзя, потому что он слишком похож на всех.

1.6. пытка как ремесло: боль с печатью

Осталась последняя технология исторического слоя — самая поучительная, потому что самая отрезвляющая. Речь о пытке — но не о пытке подвала и не о пытке душегуба. О пытке казённой, процедурной, входившей в состав доказательств, как печать входит в состав документа. Именно эта пытка показывает главное о жестокости как социальном механизме: она живёт не в груди мучителя, а в тексте закона — и умирает тоже там.

Римское право установило пропорцию, от которой у читателя должно стать неуютно: показания раба имели юридическую силу только под пыткой — *quaestio per tormenta*. Не как зверство, а как стандарт достоверности: закон исходил из того, что раб без боли говорить правду не станет. Свободного гражданина в классическую эпоху пытать было нельзя — боль распределялась по статусу, как и всё в Риме; позднее, в эпоху империи, пытка сползла вниз по лестнице сословий, но сама лестница — вот что важно — была юридической. Суд не делал больному человеку больно. Суд исполнял процедуру. Между этими двумя предложениями — вся анатомия этой главы.

Средневековая Европа поставила процедуру на рельсы, по которым она ехала пятьсот лет. В 1215 году Четвёртый Латеранский собор запретил духовенству участвовать в ордалиях — испытаниях водой, огнём, железом, где вердикт выносил Бог. Суд остался без божественной экспертизы, и ему понадобилась земная машина достоверности. Машина была построена из римско-канонического права, и у неё оказалась фатальная конструкция: полным доказательством считались либо показания двух беспристрастных очевидцев, либо признание обвиняемого. Очевидцев на большинство преступлений нет и не бывает — преступление не устраивают при зрителях. Оставалось признание. Признание стало «царицей доказательств», а пытка — её престольной гвардией. Система не могла отказаться от пытки, не разрушив саму себя: без признания суд терял право судить тяжкие дела, а признание без боли давали редко. Так боль стала государственной необходимостью — с регламентом, отметь это обязательно: кто имеет право приказать, сколько раз допустимо, какими орудиями, при каком протоколе; и с волшебной формальностью напоследок — признание надлежало подтвердить «без пытки», на повторном допросе. Все понимали, что это формальность. Формальность и есть любимая одежда машины.

Кодификация наступила в 1532 году: *Constitutio Criminalis Carolina*, уголовный кодекс Карла V для Священной Римской империи, систематизировал судебную пытку — случаи, пределы, порядок. Не беззаконие, а закон о боли. Читай это внимательно, потому что здесь глава говорит неудобное: средневековая пытка была не дикостью темноты, а продуктом самой строгой юридической логики своего времени — логики, которая честно хотела отличать виновного от невиновного и нашла для этого самый дурацкий из возможных приборов.

А потом пытка исчезла — и вот на этом месте слушай вдвое внимательнее, потому что причина исчезновения говорит о жестокости больше, чем пять веков её применения. Официальная история любит версию о просвещении: Беккариа в 1764 году в «О преступлениях и наказаниях» разнёс пытку аргументом, который не опровергнут до сих пор, — пытка определяет не виновность, а выносливость; крепкий преступник выйдет сухим, хрупкий невиновный признается. Философы ударили, законодатели сдвинулись: Пруссия отменила пытку в 1740 году — Фридрих II, с оговорками для государственной измены, полностью в 1754-м; Франция сняла предварительную пытку в 1780-м и дознавательную в 1788-м; к середине XIX века казённая боль сошла со сцены почти по всей Европе. Версия красивая — и неполная. Историк права Джон Лэнгбайн в книге «Пытка и закон доказательств» (1977) доказал неудобное: пытка исчезла не потому, что Европа стала добрее, а потому что изменилась система доказательств и наказаний [31]. Пока выбор суда стоял «казнить или оправдать», признание было необходимо — на такие ставки без «царицы доказательств» играть нельзя. Когда появились тюрьмы и гра-

дация сроков, суд получил право наказывать по совокупности улик, не дожидая до признания, — и пытка стала технически не нужна. Её отменили по бухгалтерским причинам. Милосердие пришло вслед за тюрьмой, а не наоборот. Помнишь тезис исторического слоя — жестокость отступает, когда меняется технология? Вот его лучшее доказательство: пятьсот лет морали не хватило, чтобы убить пытку; одно изобретение тюремного срока справилось за полвека. Вывод неутешителен и потому ценен: не жди, что зло уйдёт, когда люди повзрослеют. Оно уходит, когда его выключают из розетки — когда меняется конструкция, в которой оно было деталью. Хочешь меньше жестокости — проектируй конструкции, где она не нужна. Всё остальное — проповеди, эффективность которых измерена пятью веками Каролины.

Точку ставит XX век: пытка — едва ли не единственная жестокость, которую человечество попыталось изъять из обращения полностью и навсегда, на уровне мирового договора. Конвенция ООН против пыток 1984 года фиксирует абсолютный запрет — без исключений, без оговорок про чрезвычайное положение, войну или приказ; запрет пытки признан императивной нормой, не подлежащей отмене ни при каких обстоятельствах. Никогда раньше цивилизация не писала про боль таких слов. Но заметь последний нюанс, без которого картина лжива: запрет — это статья, а не исчезновение. Пытка выжила в статусе запрещённой — то есть получила то, что машина ценит выше легальности: гриф, переименование и лексику, где боль называется любыми словами, кроме своего имени. Как работает переименование — следующий слой покажет на приборах.

Исторический слой подходит к итогу, и итог таков: жестокость в истории — не вспышки безумия, а технологии, отработанные фоном, языком, коридором, толпой и бюро. Каждая технология сама по себе объяснима, каждая работает на обычном человеке, и все вместе они составляют конвейер, на входе которого — сосед, а на выходе — цифра в отчёте. Теперь — психология. Потому что история показала ЧТО, а психология обязана показать КАК — на живом человеке, в эксперименте, с приборами. И первая лаборатория, к которой мы подойдём, — та, где стоит генератор с выключателем от 15 до 450 вольт.



Илл. 2

Илл. 2. «Кабинет № 1». Пульт с тридцатью тумблерами, рука над рядом, за стеклом — кресло с ремнями. Точка, где наука случайно сделала рентген века.

2. Психологический слой

2.1. Йель, 1961: эксперимент, который нельзя повторить

В августе 1961 года — в тот самый месяц, когда начался процесс Эйхмана и когда строилась Берлинская стена, — в подвале Линдсли-Читтенден-холла в Йеле началась серия экспериментов, после которых психология уже не могла говорить о людях по-прежнему. Экспериментатор — Стэнли Милгрэм, двадцать восемь лет, ассистент-программист кафедры; задача, по его собственному признанию, простая и страшная: понять, как обычные американцы повели бы себя на месте обычных немцев [17].

Конструкция эксперимента известна каждому — и именно поэтому её надо пересказать точно, потому что в пересказах её регулярно искажают. Участник — доброволец за четыре с половиной доллара, житель Нью-Хейвена и окрестностей, от двадцати до пятидесяти лет, все профессии — приходит в лабораторию и узнаёт: исследуется влияние наказания на обучение. Он будет «учителем»; другой участник, «ученик» — на самом деле актёр, джентльмен по имени Макдонаф, специально отобранный как мягкий и симпатичный, — будет отвечать на вопросы из соседней комнаты. За неверный ответ учитель нажимает рубильник: удар током. Тридцать рубильников, от 15 до 450 вольт, с подписями: «слабый», «сильный», «очень сильный», «опасный: тяжёлый», дальше — просто «XXX». Ток на самом деле не подаётся — но учитель этого не знает; ему для убедительности дали пробный настоящий удар в 45 вольт, неприятный. Ученик за стеной отвечает по записи: правильно, потом всё чаще неверно; на 150 вольтх начинает кричать и просить отпустить, упоминает сердце; на 270 — кричит в агонии; после 330 — замолкает. Молчание тоже считается неверным ответом: нажимай дальше. Рядом стоит экспериментатор в сером халате и при любой остановке произносит по нарастающей четыре фразы: «Продолжайте, пожалуйста». «Эксперимент требует, чтобы вы продолжали». «Крайне важно, чтобы вы продолжали». «У вас нет другого выбора, вы должны продолжать» [17].

До эксперимента Милгрэм опросил коллег, психиатров, студентов: сколько человек из сорока дойдёт до конца шкалы? Прогноз — единицы, доли процента, только садисты. Результат первой серии: двадцать шесть человек из сорока — шестьдесят пять процентов — дошли до 450 вольт и нажали XXX, пока ученик давно молчал за стеной. Ни один участник не остановился до 300 вольт [17]. Запомни эти числа, потому что дальше начинается работа с ними — а работать с ними надо не так, как принято в кино.

Принято так: «65% людей — потенциальные палачи». Неправильно так читать. Правильно читать вот как: обычные люди, без всякой жестокости — Милгрэм и наблюдатели фиксировали: участники потели, дрожали, заикались, грызли губы, нервно смеялись, умоляли экспериментатора остановиться, спрашивали, кто несёт ответственность, — в этих муках продолжали нажимать. Трое из четырёх. Не радостно, не холодно — мучаясь. Вот это и есть находка, которую кино не показывает: эксперимент Милгрэма не о том, что люди жестоки. Он о том, что люди покорны — покорны до тошноты, покорны через слёзы, покорны против собственной воли, если рядом стоит авторитет, принимающий ответственность. Участники, заметь, не были привязаны к стулу. Ничто не мешало встать и уйти — четыре доллара платили в любом случае. Они не уходили. Они уточняли: «А вы берёте ответственность?» — и, услышав «да», нажимали. Вопрос об ответственности — ключевой в протоколах: люди искали не оправдание, а крюк, на который повесить свой выбор [17].

Милгрэм потом два года варьировал условия — и карта вариаций страшнее самой цифры. Покорность падает, если экспериментатор не в комнате, а по телефону. Падает, если ученик в той же комнате — приходится видеть лицо. Падает ещё сильнее, если руку ученика надо при-

жимать к пластине силой. Падает почти до нуля, если рядом два других «учителя» — актёры — отказываются: пример неподчинения заразен, и это, заметь, единственная хорошая новость главы, запомни её место. И растёт, если участник — лишь звено: один читает вопросы, другой нажимает; рассеивание по ролям действует лучше, чем экран [17]. Все эти ручки ты уже знаешь из исторического слоя — дистанция, рассеивание, приказ, пример. Милгрэм просто вывел их на пульт и промерил. Война как фабрика, бюро как машина — всё это уместилось в подвал с тридцатью рубильниками.

Теперь — обязательные поправки, без которых пересказ нечестен. Во-первых, этика: эксперимент вывел участников из строя на годы, многие узнали о себе то, что не хотели знать; по современным нормам его не одобрит ни один комитет — и это правильно. Во-вторых, критика: Джина Перри, историк, в 2010-х подняла архивы и усомнилась — часть участников, по её данным, сомневалась в реальности тока, а Милгрэм отчитывался выборочно; кроме того, «четвёртая фраза» экспериментатора — «вы должны» — часто заканчивала дело: кто продолжал после неё, часто всё же останавливался [18]. В-третьих, воспроизведения: Джерри Бергер в 2009 году повторил схему в этическом усечении — до 150 вольт, точки первого протеста, — и получил ту же картину подчинения с поправкой на десятилетия: процент дошедших до 150 сопоставим с милгрэмовским [19]. Итог, который держится после всех поправок: не «две трети — палачи», а «значительная часть нормальных людей в ситуации с авторитетом идёт дальше собственной совести, причём мучаясь». И этого достаточно. Для истории — более чем.

И последнее о Милгрэме — то, о чём он написал сам и что редко цитируют. Он не говорил «люди — овцы». Он говорил о «состоянии агентности»: человек в системе с авторитетом переключается из режима «я — автор поступка» в режим «я — инструмент чужого поступка», и в этом режиме действует тщательно, совестливо и без ответственности — ответственность осталась в другом режиме, у того, кто отдал приказ [17]. Состояние агентности — это не психология толпы и не гипноз. Это юридическая слепота добросовестного исполнителя. Дальше — Зимбардо, где авторитета нет вовсе, а жестокость всё равно растёт: там, значит, другой механизм.



Илл. 3

Илл. 3. «Машина». Контора без конца: столы, стопки, печати, спины — и ни одного лица целиком. Жестокость без жестоких; механизм, переживающий свои винтики.

2.2. Стэнфорд, 1971: тюрьма, построенная за шесть дней

Второй эксперимент главы — знаменитейший, самый цитируемый и самый искажаемый. Август 1971 года, подвал факультета психологии Стэнфорда. Филип Зимбардо объявляет в газете набор: молодые люди, студенты, здоровые, отобранные после тестов как самые нормальные из нормальных, — делятся жребием на «охранников» и «заключённых» и на две недели поселяются в макете тюрьмы [20].

Что случилось дальше — пересказывают обычно как сказку о мгновенном зверстве: роли захватили людей, охрана взбесилась, эксперимент остановили на шестой день. Сказка не совсем врёт, но недоговаривает, а недоговорённое важнее сказанного. Да: охрана изобретала унижения — считалки ночью, лишение сна, туалета в виде ведра, наказания отжиманиями, голые камеры, — и изобретала с изобретательностью, которой никто не учил. Да: заключённые ломались — один начал голодать, у одного случилась острая истерика, и его отпустили на второй день; других пришлось отпускать по медицинским признакам. Да: Зимбардо сам увяз в роли начальника тюрьмы и остановил эксперимент только на шестой день — по внешнему сигналу: аспирантка Кристина Маслак, приглашённая взглянуть, пришла в ужас от того, что увидела, и сказала об этом прямо; Зимбардо позже признавал публично, что её вмешательство было моментом совести [20].

А теперь — ревизия, потому что за полвека накопилась, и она обязательна по правилам этой книги. В 2010-х исследователи подняли аудиозаписи и архивы эксперимента и установили: охрану инструктировали — жёстко, прямо, с указаниями создавать ощущение бессилия у заключённых; часть «спонтанной» жестокости была отрепетирована или подсказана; Зимбардо в публикациях десятилетиями подавал происходившее как чистую игру ролей, что было, мягко говоря, не полной правдой [21]. Французский исследователь Тибо Ле Тексье опубликовал в 2018 году разгромный разбор: «знать не знали, наблюдали» — неправда; знали, режиссировали, писали сценарий [21]. Что остаётся от эксперимента после честной ревизии? Остаётся вот что: даже с поправкой на режиссуру — группа случайных студентов за считанные дни построила работающую тюрьму с унижениями, и никто из охраны не вышел из строя по собственной воле, не отказался участвовать. Заключённые тоже не бунтовали массово — приспособлялись. Скелет вывода держится: ситуация с назначенными ролями и нулевой ответственностью производит жестокость без садистов — быстро, предсказуемо, повторяемо. Детали были грязнее, чем рассказывали. Вывод не стал чище.

Чем дополнить, раз классика подпорчена? Вот чем: в 2001 году британские психологи Алекс Хэслам и Стивен Райхер повторили идею для BBC — «The Experiment», тюрьма под телекамерами, — и получили поворот, которого у Зимбардо не было: охрана там в жестокость не сплотилась — разобщилась, а вот заключённые сплотились, и на шестой день подняли восстание и сломали режим [22]. Хэслам и Райхер сделали из этого теорию: люди не «впадают в роль» автоматически — они идентифицируются с группой, и дальше группа творит норму: если группа решает быть жёсткой — будет жестокость; если группа решает сопротивляться — будет сопротивление. Роль не костюм, который надевают. Роль — проект, который группа строит [22]. Это тоньше Зимбардо и страшнее: автомат можно обвинить в безответственности, а за групповой проект отвечать придётся самому.

Сведём оба подвала — йельский и стэнфордский — в одну формулу, потому что они про разное, а не про одно. Милгрэм: приказ авторитета запускает покорность против совести. Зимбардо—Хэслам: свободная группа с властью и без ответственности сама производит норму жестокости — или норму сопротивления, если повезёт. Первое — сверху вниз, второе — снизу

вверх. История даёт оба сценария, и эта глава показывала оба: бюро Милгрэма — на совещаниях с протоколами, тюрьма Зимбардо — на блокпостах и в подвалах, где никто никому не приказывал в таких словах. И в том и в другом случае исполнитель — обычный человек, и в том и в другом случае его жалость, его вскрики за стеной, его бессонница ничего не меняют без внешнего сигнала: чужого отказа, чужого «хватит», чужого примера. Держи эту мысль до конца главы: весь психологический слой кричит одно — в одиночку человек почти не останавливается. Останавливается — если рядом остановился другой. Отсюда следствие, которое будет в финале: доброта тоже заразна, но у неё более слабый носитель, и ей нужен более храбрый пациент ноль.

2.3. Банальность зла под прибором: Арендт и её критики

Теперь — о столкновении философии с архивом, потому что у этой главы есть обязательство: факты точны или помечены как версии.

Арендт написала «Эйхмана в Иерусалиме» в 1963 году — репортаж с процесса, выросший в трактат [16]. Главные её тезисы: Эйхманн — не идеолог и не фанатик, а функционер; его зло — из неспособности думать, из преданности приказу, из карьеры; «банальность зла» — в этой плоскостности. Книга вызвала бурю: Арендт обвинили во всём — в оправдании нацизма, в обвинении жертв (глава о юденратах, советах старейшин, и их роли, — самая болезненная в книге), в неверной картине Эйхмана. И вот что важно для этой главы: часть критики была по существу и выиграла. Историки — Дэвид Чезарани, Беттина Штангнет — по документам и записям показали: реальный Эйхманн не был бледным винтиком; он был убеждённым анти-семитом, инициативным организатором, в Аргентине мемуарно гордившимся содеянным, а в Иерусалиме — игравшим роль скромного исполнителя, потому что эта роль спасала ему жизнь [23]. Банальность зла как портрет Эйхмана — не выдержала архива. Но банальность зла как концепция — выдержала, потому что Арендт попала не в Эйхмана, а в тип: Хилбергова машина [15], тысячи безымянных клерков уничтожения, протоколы Ванзее, — всё это существует вне зависимости от того, каким был один конкретный подсудимый. Эйхманн оказался плохим примером для верной мысли.

Что из этого следует для анатомии? Следует уточнение, которое делает картину страшнее, а не мягче. В машине жестокости есть оба сорта людей: идейные — те, кто хочет, изобретает, двигает, гордится; и функциональные — те, кто исполняет, сводит, подписывает, едет домой к семье. Идейных всегда меньшинство, и без них машина не заводится; но без функциональных машина не идёт — а идейные без функциональных остаются маргиналами с листовками. Гитлер без миллионов исполнителей — безумец в пивной. Миллионы исполнителей без идейного стержня — аппарат без программы. Зло — это всегда кооперация: мрачная воля немногих плюс послушная добросовестность многих. И вот здесь — та точка, где психология встречается с моралью: исполнителям свойственно говорить «мы были винтиками», и этой фразой они пользуются как индульгенцией. Но винтик — не оправдание, а диагноз: винтиком становятся решением — решением не думать, не спрашивать, не видеть. Арендт называла это отказом от главного человеческого дара — от думанья. Винтик — это человек, отказавшийся быть человеком на восемь часов в день. За восемь часов, заметь, а не за всю жизнь: дома он снова человек, с детьми и собакой. Именно эта распределённость по часам и есть самое неудобное свойство зла: оно совместимо с личной порядочностью в остальное время суток.

2.4. «Обычные люди»: что архив сказал о батальоне

Отдельным разделом — исследование, которое эта книга ставит выше экспериментов, потому что оно сделано не на добровольцах, а на документах жизни. Кристофер Браунинг, американский историк, в 1992 году опубликовал «Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland» — «Обычные люди» [1].

Материал: полицейский резервный батальон 101, Гамбург, около пятисот человек. Возраст — от тридцати семи в среднем и старше: не молодые фанатики, выращенные режимом, а люди, сформировавшиеся до него. Профессии — рабочие, торговцы, служащие, полицейские старой закалки. Идеологической подготовки — минимум. В 1942–1943 годах этот батальон, действуя в Польше, расстрелял в лесах и деревнях около тридцати восьми тысяч человек и депортировал в лагеря смерти ещё больше [1]. Браунинг работал с послевоенными допросами — судебными протоколами, где бывшие резервисты спустя двадцать лет вспоминали, как это было. Допросы — источник нестерильный: люди оправдываются, врут себе и следователю; Браунинг писал об этом честно и всё равно вывел картину, которую нельзя прочесть без последствий для читателя.

Картина такая. Перед первой операцией — расстрелом евреев деревни Юзефув, июль 1942 года — командир батальона, майор Трапп, человек пожилой, плачущий, сделал своим людям предложение, беспрецедентное в протоколе: кто не считает себя способным — может выйти из строя, получить другое задание. Из пятисот вышло поначалу около десятка, потом ещё несколько. Остальные остались. И пошли в лес. И стреляли в затылки — женщинам, старикам, детям, — весь день, с перерывом на обед, с водкой, которую выдавали, чтобы было легче, и к вечеру у батальона были грязные мундиры и восемнадцать тысяч винтовочных выстрелов, извини за точность [1]. Дальше — рутина: расстрелы, облавы, депортации, «еврейская охота» — Judenjagd, поимка прячущихся, — и батальон превращается в профессионалов. Те, кто в первый раз блевал, к десятому привыкли. Те, кто просился перевестись, получали перевод — и вот деталь, которую Браунинг выносит на передний план: возможность отказаться существовала реально, подтверждённо, и отказывавшихся не расстреливали и не сажали — их переводили на другую работу, максимум — с прохладцей в карьере. И всё же подавляющее большинство не отказалось [1].

Почему? Браунинг перечисляет механизмы сухо, как в протоколе: групповая спайка — бросить товарищей в грязной работе, пока они делают её за всех, стыдно; карьера и мелкий страх; привыкание — первый шаг был, второй легче; алкоголь; приказ и война как фон; расчеловечивание жертв, уже встроенное в лексику. И ни одного случая пытки отказников, ни одного трибунала за отказ. Запомни это навсегда: машина работала без принуждения исполнителей. Достаточно было нормы группы и отсутствия запрета. Вот почему Браунинг называет их обычными людьми — и вот почему это название страшнее любого другого. Будь они отморожками, глава была бы утешительной: отморожков мало, их видно, их можно не пускать. Но это были соседи, мужья, отцы, бывшие почтальоны. Обычность — диагноз, а не алиби.

К Браунингу прилагается спор, важный для честности: Дэниел Голдхаген в «Добровольных палачах Гитлера» (1996) ответил, что объяснение не в обычности людей, а в особой культуре — в «элиминационистском антисемитизме», выросшем в немецкое общество за века [24]. Спор был громким, обоюдоострым: Голдхагена обвиняли в натяжках, Браунинга — в недооценке идеологии. Для этой книги спор поучителен сам по себе: он показывает, что даже на самом изученном материале вопрос «почему они это сделали» не имеет одного ответа. Конструктивное решение спора давно предложено самими участниками дискуссии: и групповая механика, и идеологическая подготовка работают вместе — первая подаёт ток, вторая заряжает лампу. И заметь: в обеих версиях ответ страшный. Либо это может любой обычный чело-

век — либо это может любое общество с нужной подготовкой. Выбирай, что хуже. Книга не выбирает: книга показывает обе ручки на одном пульте.

2.5. Привыкание: как доза растёт сама

Последний механизм психологического слоя — самый тихий: жестокость наращивается постепенно, и человек не замечает момента, когда стал другим.

Психологи называют это скользкой дорожкой, ногой в дверях, эскалацией обязательств; суть одна: первый шаг мал, каждый следующий — чуть больше предыдущего, и в каждой точке разрыв между «что я делаю» и «каким я себя считаю» остаётся терпимым. Диссонанс — несоответствие поступка и образа себя — психика гасит не остановкой, а переоценкой: жертва становится виноватее, приказ — важнее, моя роль — меньше. Леон Фестингер описал механику в 1957 году [25]: человек не выносит жить с расколом между «я порядочный» и «я делаю гадость», и раскол закрывается дешевле всего редактурой реальности, а не редактурой поведения. Редактура поведения стоит дорого: конфликт с группой, с авторитетом, с карьерой. Редактура реальности бесплатна и работает сама — стоит только дать ей первый аргумент.

Вот почему лестница, о которой сказано в открытии главы, важнее пропасти. Никто не предлагает человеку сразу резню — резня стоит на десятой ступени. На первой — подписать бумагу. На второй — не поздороваться. На третьей — принять новую лексику, потому что все так говорят, а язык, помни, — первый станок расчеловечивания. На четвёртой — постоять в строю при изъятии чужого имущества. На каждой ступени у человека есть оправдание размером со ступень: маленькое дело, не я решаю, все так делают, а если не я, то кто-то другой. Последнее оправдание — самое ядовитое, у него даже имя есть в протоколах: «всё равно делает другой, а хоть я смягчу». Из этого оправдания выросли все бюро всех машин. Смягчители, которые не смягчили ничего, кроме собственной совести, — особая категория в анатомии зла: их добрые намерения были смазкой механизма, и многие знали это, и всё равно смазывали, потому что остановить механизм стоит карьеру, а смазывать — только самоуважение, а самоуважение, как мы выяснили у Фестингера, редактируется бесплатно.

Экспериментальная поддержка эскалации есть, и она изящная. В 2016 году команда под руководством Нила Гарретта и Тали Шарот опубликовала исследование: участникам давали возможность обманывать партнёра ради выгоды малыми дозами — и ложь со временем росла, а активность миндалины, реагирующей на нечестность, с каждым обманом ослабевала: мозг привыкал ко лжи, как к запаху — переставал замечать [26]. Механизм тот же, что у Милгрэма с его тридцатью рубильниками по пятнадцать вольт: не было момента, когда «стало много», был ряд моментов, когда было «чуть больше». Тридцать маленьких шагов от 15 до 450 — и нигде на шкале не написано, на какой из них ты стал палачом. Написано это только снаружи, в протоколе, другим человеком, другим веком. Изнутри шкалы видны только вольты, по пятнадцать за раз.

Отсюда — практический вывод, который ещё пригодится в главе «Зеркало»: жестокость останавливается не на больших решениях — она останавливается на маленьких, потому что больших решений на лестнице нет. Тот, кто хочет не дойти, должен остановиться на подписи, на лексике, на строе — там, где шаг мал и отказ дешёв. На десятой ступени отказ стоит уже всего — и потому на десятой ступени почти не отказываются. Мораль — это способность видеть десятую ступень с первой. Способность редкая, но тренируемая, и тренировка её — чтение таких глав, как эта, до конца, без отвода глаз. Ты пока справляешься.

2.6. Моральное отключение: восемь рубильников Бандуры

Собери теперь всё, что психологический слой показал по частям, — у Альберта Бандуры это собрано в один щит с рубильниками. Бандура, автор социально-когнитивной теории, десятилетиями изучал вопрос, который эта глава ставит в лоб: как человек, у которого есть моральный стандарт, делает то, что стандарт запрещает, — и при этом остаётся с стандартом в мире. Ответ: стандарт не снимается — он отключается выборочно, как автомат в щитке на время ремонта: сеть в доме есть, линия обесточена, работай спокойно. Бандура назвал это моральным отключением и пересчитал рубильники — их восемь, в четырёх группах [32].

Первая группа — рубильники оформления поступка. Моральное оправдание: действие переводится в разряд службы высшей цели — порядок, безопасность, гигиена, спасение системы; жестокость, названная защитой, перестаёт быть жестокостью в голове исполнителя и становится ценой. Эвфемистическая лексика: машина не убивает — она решает вопросы, эвакуирует, зачищает, проводит мероприятия; язык освобождает руки раньше, чем совесть успевает поднять глаза — «окончательное решение» и «эвакуация на восток» стоят в протоколах именно потому, что протоколисты знали, чем пахнут настоящие слова. Выгодное сравнение: моё дело всегда светлее на фоне чужого — «другие делают хуже», «по сравнению с фронтом это канцелярия»; шкала жестокости бесконечна вверх, поэтому найти более тёмный фон можно всегда.

Вторая группа — рубильники ответственности. Перенос: решение принято наверху, я исполнитель — милгрэмовское «состояние агентности», измеренное до вольта [17]. Рассеивание: стреляет взвод, решает комитет, подписывает коллегия — делим вину на сто ртов, и каждому достаётся гомеопатическая доза, которая не будит ночью.

Третья группа — один рубильник последствий: их искажение. Не видеть тел, работать с цифрами, держать процесс на расстоянии; Гроссман показал этот рубильник для ружья и бомбы [11], Лэнгбайн — для пытки с протоколом [31], контора из первой главы этого слоя — для всего остального. Человек, не слышащий криков, — не суровый человек; это человек, которому конструкция отключила звук.

Четвёртая группа — рубильники жертвы. Обесчеловечивание: жертва понижается в статусе до категории — механизм из раздела 1.2, здесь он просто получает номер в щите. Перекалывание вины: жертва виновата сама — привела, спровоцировала, принадлежит к опасной категории, «сами виноваты, что попали». Это последний рубильник и самый липкий: он делает жестокость приятной, потому что превращает её в восстановление справедливости.

Зачем главе этот щит? Чтобы снять последнее утешение — «я бы заметил, что творю». Нет. Конструкция морального отключения такова, что ты замечаешь не отключение, а его отсутствие: стандарт цел, лампочка горит, совесть молчит, потому что на этот случай линия обесточена — и ты сверяешься с щитом, а не с током. Бандура довёл схему до самой твёрдой проверки: вместе с коллегами он изучил персонал, исполняющий смертные казни, — людей, чья работа состоит в том, чтобы по расписанию лишать жизни осуждённого, часто знакомого годами. Весь набор рубильников нашёлся в их интервью, как в каталоге: оправдание долгом, лексика процедуры, перенос на приговор и штат, рассеивание по команде, изоляция от последствий, перекалка вины на осуждённого [35]. Рубильники оказались не патологией — профессиональной гигиеной. Без них работа не делается; с ними — делается кем угодно. Вот формула, которую глава просит выгравировать на полях: жестокость не требует сломать мораль — достаточно научиться обслуживать щит.

2.7. Аппетит: жестокость, которая нравится

Теперь — обязательная поправка к собственной главе, без которой картина враньё. Всё, что было выше, защищало тезис: ситуация сильнее личности, машина работает на среднем человеке. Это правда, но не вся. Правда целиком звучит так: ситуация сильнее средней личности — а личности не средние, и у части из них есть то, что ситуации не нужно. Аппетит.

Исследователи личности Делрой Полхус и Кевин Уильямс в 2002 году собрали три неприятные черты в один пучок — нарциссизм, макиавеллизм, психопатию, — и назвали тёмной триадой; позже пучок достроили до тетрады, добавив четвертую черту — бытовой садизм: удовольствие от чужого ущерба, встречающееся в обычной популяции, вне клиники и без диагноза [33]. Слово «бытовой» здесь точное: не маньяк из газет, а коллега, которому смешно, когда кому-то плохо; комментатор, который приходит, когда кому-то больно; человек, у которого от чужого падения улучшается настроение. Немного таких людей — но они есть в каждом коллективе, в каждом строю, в каждой очереди.

В 2013 году Эрин Бакелс, Дэниел Джонс и Полхус поставили аппетиту лабораторную проверку. Инструмент был жутковато-прост: «машина для дробления жуков» — переоборудованная кофемолка, куда по легенде опускали живых жуков; участникам предлагали на выбор неприятные задания, включая это. Заметная доля выбирала дробление — и сообщала об удовольствии; во втором опыте часть участников была готова наказывать невиновного соперника и даже выполнять дополнительную скучную работу ради самой возможности наказать [33]. Оговорки обязательны: лабораторный жук — не человек, прокси-замеры есть прокси-замеры, и поле это спорное. Но порядок явления зафиксирован: удовольствие от причинения — не экзотика психушки, а черта, распределённая в общей популяции колоколом, у которого есть тёмный хвост.

Зачем это главе, которая только что доказывала «не ищите монстров»? Чтобы ты не впал в обратное заблуждение — «монстров нет». Монстров нет; хвост распределения есть. Машина из первого исторического раздела работает на послушании большинства — и получает прибавку мощности, когда внутри оказывается носитель аппетита: ему не нужны ни приказ, ни эскалация, ни анестезия, он пришёл заряженным. Большинство без машины — просто люди; аппетит без машины — маргинал у ограды; машина с аппетитом внутри — вот историческая резня в её полной комплектации. Браунинг в батальоне выделил ядро активных стрелков — меньшинство, которое искало операций [1]; Бандура назвал бы им место на шкале; Полхус — имя черты. Три прибора, один хвост распределения. Запомни пропорцию: общество — не толпа садистов, но и не толпа без них; это толпа, где на десяток равнодушных приходится один голодный — и этого достаточно, если толпу собрать в строй.

2.8. Счёт исполнителю: что платит тот, кто нажимал

Последнее измерение психологического слоя — самое тихое и самое разрушительное для мифа о каменном палаче. Миф говорит: исполнитель спит спокойно. Архив и клиника говорят другое. Психотерапевт Рэйчел Макнейр в 2002 году собрала разрозненные наблюдения в диагноз: PITS — травматический стресс, вызванный не тем, что пережил, а тем, что сделал. Ночные возвращения, навязчивые картины, туннельные воспоминания — у ветеранов, стрелявших в людей; у полицейских после применения оружия; у персонала, исполняющего казни [35]. Психика не различает «законно» и «незаконно» так, как различает закон: для неё разница меньше, чем для кодекса, и счёт она выставляет по своей бухгалтерии.

Счёт виден по всей истории исполнительских профессий. Расстрельные команды комплектовались с анестезией на складе — водка как штатное снабжение проходила по ведомости не случайно и не только в Юзефове; Браунинг фиксирует первые операции батальона: дрожь, неспособность продолжать, просьбы о переводе, бессонница, — и только потом привыкание, профессионализация, пустота [1]. Персонал камер смертников и команд исполнения изучен прямо: повышенные показатели стрессовых расстройств, текучка, дебрифинги и психологическое сопровождение как производственная норма [35]. Машина знает про счёт — и заложила его в смету: смены, ротации, обезличенные роли (один заряжает, другой нажимает, третий не знает, чья пуля), рубильники Бандуры как гигиена рук. Это не забота о человеке; это замена винтиков до срока, потому что лопнувший винтик — простой конвейера.

Вот теперь — последняя скоба слоя. Помнишь четвёртый тезис неудобной правды: подчинение оплачивается в рассрочку? Вот счета к нему, предъявленные клиникой. Подчинение — кредит; проценты начисляются на всю сумму, а не на взнос; и платят не только жертвы. Жестокость экономна: она не тратит палачей сразу, она амортизирует их годами — и в этом нет ни капли возмездия, чистая теплотехника. Психологический слой закончен. Приборы показали всё, кроме одного: почему зло так легко надевает скучное лицо и почему скучное лицо так надёжно обманывает зеркало. Это уже не вопрос приборов — приборы молчат о смысле. Это вопрос философии.

3. Философский слой

3.1. Арендт: зло как отказ от думанья

Ханна Арендт уже стояла в этой главе как историк процесса Эйхмана; здесь она нужна как философ — потому что из репортажа выросла одна из главных моральных теорий XX века.

Её конструкция такова. Зло, совершённое в масштабе века, не было делом демонов — демонов не хватило бы. Оно было делом людей, отказавшихся от единственной способности, которая делает человека человеком в политическом смысле: от способности думать. Думанье у Арендт — не интеллект и не эрудиция (Эйхманн начитан не был, но и начитанность не спасает: доктора философии в тех же списках встречаются с пугающей регулярностью), а внутренний диалог, способность представить на себе место другого и услышать собственный голос, спрашивающий «что ты делаешь?» [16][27]. Тот, кто не думает, не обязательно зол — он пуст, и пустота наполняется чужой волей: приказом, нормой, лозунгом. Банальность зла — это зло без автора, совершаемое людьми, в которых никто не дома. Арендт развивала это в «Жизни ума» — недописанной, последней: думанье, утверждала она, не гарантирует добра, но его отсутствие гарантирует уязвимость перед любой машиной [27].

Критика Арендт известна — часть уже названа: портрет Эйхмана был неточен, и это признано архивом [23]. Но философское ядро — связь зла с безмыслием — пережило своего неточного примера, и вот почему: оно объясняет то, что не объясняет никакая теория демонов — совместимость зла с заурядностью исполнителя. Демон совершает зло по природе; банальный человек совершает зло по расписанию. Второго больше, и второй дешевле, и второго можно нанять за зарплату. Именно поэтому Арендт считала думанье политическим актом: общество думающих людей — единственное общество, непригодное для машины. Общество исполнителей — готовая машина, ждущая только программы. Запомни формулу: программистов всегда мало, винтиков всегда хватит; единственная защита — не хорошие программисты, а люди, отказывающиеся быть винтиками. Как воспитать таких — вопрос на главу «Зеркало». Здесь фиксируем диагноз: зло не требует от тебя ненависти. Зло требует от тебя выходного в отделе думанья.

3.2. Левинас: лицо как последний запрет

Эммануил Левинас, философ, переживший войну пленным и потерявший семью в Холокосте, построил этику вокруг одного образа: лица [28]. Лицо другого человека — не часть тела и не объект восприятия: лицо — это запрет. В лице другого, говорит Левинас, я встречаю то, что не могу присвоить, не могу свести к вещи, — и первое слово этого лица, до всякого языка: «не убивай». Вся этика, по Левинасу, не выводится из разума и не спускается с небес — она случается со мной в момент встречи лицом к лицу: другой смотрит на меня, и его взгляд ставит меня под ответственность раньше любого моего решения.

Из этой философии следует анатомический вывод, который эта глава уже проверила лабораторно: вся технология жестокости — это технология избавления от лица. Расчеловечивание стирает лицо до типа. Дистанция убирает лицо из поля зрения — Милгрэм промерил: рубильник легче нажимать, когда крик за стеной, легче ещё, когда вообще тишина, и почти невозможно, когда руку надо прижимать силой [17]. Бюрократия заменяет лицо строкой. Война заменяет лицо силуэтом мишени — и не случайно армии перешли от круглых мишеней к человекообразным только для того, чтобы научиться стрелять в силуэт, не видя лица: настоящее лицо по-прежнему мешает, и снайперы, и палачи, и пилоты знают это по-разному [11]. Левинас даёт этому объяснение в одну строку: лицо — единственная штука в мире, которая сопротивляется убийству сама, без аргументов. Поэтому машина в первую очередь берётся за лица. Поэтому фотографии погромов делают то, чего не делают статистики: возвращают лица туда, где была цифра.

3.3. Шкляр: жестокость первым делом

Юдит Шкляр, политический философ, в «Обыкновенном пороке» предложила странную на первый взгляд иерархию: поставить жестокость первым из пороков — *summum malum*, наихудшим злом, выше лжи, предательства, трусости [6]. Почему? Потому что жестокость — единственный порок, который не может служить: ложь иногда спасает, трусость иногда щадит, предательство иногда исправляет ошибку, а жестокость — удовольствие или равнодушие в причинении страдания — неисправима и ничего не строит. Всё остальное плохо тем, к чему ведёт; жестокость плоха сама. И — вот политический заряд Шкляр, важный для всей книги: порядок, который требует жестокости, нельзя оправдать никакой целью, потому что жестокость не инструмент — жестокость зараза, и тот, кто пустил её в машину как смазку, обнаружит её скоро хозяйкой машины.

Шкляр полезна этой главе ещё и ловушкой, которую она расставляет читателю: если жестокость — первый порок, то главный вопрос к любому порядку, идеологии, вере, партии, мечте — не «что ты строишь?», а «сколько страдания ты при этом считаешь допустимым?» Ответ «нисколько» — враньё, потому что порядок всегда давит кого-то. Честный ответ числится, и по нему можно сортировать проекты: тот проект, что заранее согласен на чужое страдание как на издержки, — уже плохой проект, что бы он ни обещал построить. Мера Шкляр скучна, бухгалтерски проста и непробиваема: считай боль. Идеологии с этой мерой спорят — у них есть тысячи аргументов, почему именно сейчас считать не надо. Эта книга предлагает спор прекращать на первом аргументе: тот, кто просит не считать боль, собирается её производить. Других причин не считать у людей нет.

3.4. Жирар: жестокость как клей

Рене Жирар уже стоял в первой главе с механизмом козла отпущения [29]. Здесь он нужен с другой стороны: с той, где жертвенное насилие склеивает группу. По Жирару, единодушная расправа — древнейший цемент общества: в момент, когда все против одного, расколотая группа вдруг едина, и это ощущение единства — наркотик, к которому группа возвращается при каждом кризисе. Жестокость, в оптике Жирара, социальна не только по жертве, но и по исполнителям: это общественный ритуал, в котором каждому участнику даётся глоток единодушия. Отсюда — погромы как праздники, казни как зрелища, травля как корпоратив. Группа не просто позволяет жестокость — группа нуждается в ней периодически, как в точке сборки.

Соединённый с психологическим слоем, Жирар даёт мрачное объяснение, почему жестокость заразна: она платит каждому участнику принадлежностью. В первой главе сказано: изгнание из круга — смертельная угроза, болезненная физически. Теперь добавь: участие в расправе — билет в круг, удостоверение своего, подпись кровью, которую невозможно отречься и потому невозможно предать. Группы, прошедшие через общее преступление, связаны прочнее групп, прошедших через общий подвиг: подвиг можно забыть, преступление — нет, оно держит всех в одной лодке молчания. Так работают и эскадроны, и бюро, и школьные дворы: совместное грязное дело — универсальный клей, и наносится он бесплатно. Жирар объясняет, почему отречение от группы после совместной жестокости почти невозможно: отречься — значит признать, что клей был кровью, а кто хочет знать это о своём клее?

3.5. Фромм: зачем человеку зло

Эрих Фромм — фигура на стыке психоанализа и философии, и в этой книге он появится дважды: здесь с «Анатомией человеческой деструктивности» (1973), позже с «Бегством от свободы» [30]. В «Анатомии» Фромм делает разбор, который нужен нам для точности терминов — а точность терминов в этой главе не роскошь.

Фромм различает два типа агрессии. Первая — оборонительная: реакция на угрозу, встроенная в биологию, общая с животными; она служит жизни и гаснет с угрозой. Вторая — деструктивность и жестокость собственно человеческие: причинение страдания ради самого причинения или ради структуры, которой страдание служит; у животных этого нет, животное не пытается и не унижает — это человеческие изобретения, и обязаны мы ими не хищной природе, а, наоборот, разрыву с природой: существу, которое осознаёт себя, скучает, боится бессмысленности и ищет власть над другим как замену власти над собой [30]. Жестокость, по Фромму, — дешёвый ответ на экзистенциальный вопрос: я ничтожен, но вот тот, кого я мучаю, ничтожнее, значит, я не дно. Формула некрасивая — и потому правдоподобная: унижение никогда не строит ничего, кроме лестницы, на которой унижающий стоит ступенькой выше униженного. Вся жестокость — строительство этой лестницы. Ступени всегда из людей.

Фромм важен главе тем, что разводит два утешения, которыми читатель мог бы утешиться. Утешение первое: «жестокость — это природа, животное в нас». Нет: животное в нас — оборона, а жестокость — надстройка, человеческое изобретение, и ответственность за неё не на природе. Утешение второе: «жестокость — это болезнь, психопатия немногих». Тоже нет: психопаты — глава девятая, там они получают своё, — а машина работает на здоровых, и Фромм это знал, потому что сам прошёл через век, где здоровые делали больше больных. Деструктивность не диагноз — деструктивность это решение, принимаемое здоровым человеком по мелочам, ступень за ступенью. С Фроммом психологический слой этой главы замыкается в философский: механизмы измерены, мотивы названы, и ни один мотив не снимает с человека права сказать «нет». Право это осталось. Вопрос только в цене — и в том, кто рядом, когда придётся платить.

3.6. Ницше: жестокость как память

Последний свидетель философского слоя — самый опасный, потому что самый неудобный по лагерю. Фридрих Ницше не гуманист, не моралист, не защитник слабых — и именно поэтому его показания весомее: свидетель, которому нечего защищать, говорит то, что видит. А видел он жестокость везде, куда глаз падает, включая туда, куда моралисты заглядывать запрещают себе, — внутрь самой добродетели.

В «К генеалогии морали» (1887), во второй статье, Ницше ставит вопрос, которого не ставила эта книга, а зря не поставила: как человеку вообще сделали память? Животное забывает — и потому живёт настоящим; человек должен был стать считающимся, обещающим, обязующимся существом — а для этого ему надлежало запоминать. Ответ Ницше жёсток сам по себе: память прививали болю. Только то, что не перестаёт болеть, остаётся в памяти — и потому древнейшая технология воспитания была технологией прижигания: наказание, залог, жертвоприношение, пытка виновного и невиновного [36]. Отметь параллель с Лэнгбайном из исторического слоя: юрист и философ, не сговариваясь и разными архивами, пришли к одному — боль была не сбоем цивилизации, а её строительным материалом. Цивилизация, по этому показанию, не сидит на фундаменте жестокости — она из неё кирпичи жгла.

Второе показание — про праздник. Ницше утверждает: без жестокости нет праздника — так учит самая древняя и самая долгая часть человеческой истории, и в наказании праздничного не меньше, чем в жертве; видеть страдание — услада, причинять страдание — услада высшая [36]. Звучит как провокация; проверь по историческому слою — площадь 1757 года, амфитеатры, аутодафе с трибунами для знати. Провокация оказывается репортажем. Ницше просто сказал вслух то, что фон первой главы этого раздела показал гравюрой: страдание другого долгое время было общественным сезоном, и исчезло оно не из-за прививки доброты — из-за перемены технологий и вкусов.

Третье показание — самое тёмное и самое нужное этой книге. Откуда совесть? Ницше отвечает парадоксом, который после этой главы уже не звучит парадоксом: дурная совесть — это жестокость, развёрнутая внутрь. Инстинкты, которым заперли выход наружу — стеной, законом, стадом, — не исчезли; они повернулись на самого носителя, и человек стал животным, которое пытается себя самого [36]. Если хотя бы половина этого права, то картина главы достраивается до полной: жестокость нельзя упразднить как ингредиент — её можно только маршрутизировать. Наружу — получается палач. Внутрь — получается совесть, вина, самобичевание, вечный ремонт души. Задача цивилизации — не «вылечить человека от жестокости» (лечения нет, есть перенаправление), а поставить счётчик на оба направления и не дать ни одному выйти на промышленную мощность. Скучная формулировка для пылающего вывода — но эта книга предпочитает скучные формулировки, потому что пылающими обычно прикрывают самое интересное.

И последнее, утилитарное. Ницше, разбирая наказание, насчитал у него около десятка разных смыслов — устрашение, искупление, изоляция, плата, праздник, память, — и показал: все они свалены в одно слово и потому не работают как инструмент мысли [36]. Урок для читателя этой главы прямой: спрашивай всегда, КАКИМ из десятка наказание является в данном случае. Пока ты не спросил — за тебя отвечает традиция, а традиция, как показано выше, отвечает обычно «праздником». Моральный вывод из Ницше эта книга делать не станет — он сам бы посмеялся над попыткой, — но методический вывод сделает: вскрывая жестокость, держи при себе хотя бы одного свидетеля, который её не осуждает. Только так проверяешь, не пропустил ли ты её там, где осуждение заслонило обзор.

Сведём философский слой: Арендт — зло как выключенное думанье; Левинас — лицо как последний запрет; Шкляр — жестокость как первый порок и счёт боли как единственная

мера проектов; Жирар — жестокость как клей группы; Фромм — жестокость как человеческое изобретение на фундаменте ничтожества; Ницше — жестокость как память, праздник и топливо, которое нельзя израсходовать до дна, а можно только направить. Теперь — кейс. Один эпизод, разобранный до костей, из тех, о которых принято говорить «это было безумие». Посмотрим, что было на самом деле.

4. Кейс-разбор: Юзефув, 13 июля 1942 года

4.1. Почему именно этот эпизод

Кейс этой главы — расстрел в Юзефове, первая операция 101-го батальона, тот самый, который Браунинг разобрал по протоколам [1]. Почему он, а не что-нибудь покрупнее? Потому что он чист. Крупные машины — Аушвиц, система лагерей — размазаны по тысячам рук и лет, в них тонет причинность. Юзефув — одна деревня, один день, один батальон, один лес, одно предложение выйти из строя. Это лаборатория жестокости, поставленная самой историей: все переменные на виду. И ещё потому, что в нём есть тот редкий элемент, которого нет почти нигде: задокументированная возможность отказа. В Юзефове каждому предложили выбор — и поэтому Юзефув отвечает на вопрос главы с точностью, недоступной другим эпизодам.

4.2. Входные данные

Батальон 101 — резервная полиция порядка, Гамбург. Не СС, не айнзатцгруппа, не идеологические команды: батальон резервистов, мужчины в основном за тридцать пять, рабочие и мелкие служащие, отцы семейств, из которых почти никто не состоял в партии до войны, а многие голосовали когда-то за социал-демократов, — Браунинг приводит раскладку по протоколам [1]. Задача батальона в Польше — охранная служба: гарнизоны, облавы, сопровождение. До июля 1942 года никто из них не совершал массовых убийств. Командир — майор Вильгельм Трапп, пятьдесят три года, карьерный полицейский старой школы, не член партии, по свидетельствам подчинённых — человек мягкий, в протоколах называемый с теплотой, которая сама по себе кричит.

Вечером 12 июля батальону объявили задачу: деревня Юзефув, около тысячи восьмисот жителей-евреев. Приказ: мужчин трудоспособного возраста отобрать и отправить в лагерь труда; остальных — женщин, детей, стариков — расстрелять. Всё это — впервые для батальона. Утром 13 июля Трапп собрал людей и — вот центральный факт кейса, зафиксированный в допросах множества участников независимо — произнёс речь, в которой, заикаясь и, по свидетельствам, плача, объяснил задачу и сказал: кто из старших, у кого семьи, кто не чувствует в себе сил выполнить эту задачу — может выйти и получить другое назначение [1]. Пауза. Из строя вышел один. Потом ещё несколько. Всего из примерно пятисот человек на первом этапе отказались десять-двенадцать; ещё несколько десятков уклонились по ходу дня разными способами — попросились на охрану, на сбор, затерялись. Остальные — большинство батальона — пошли в лес [1].

4.3. Как это происходило

Техника была примитивной, и это важно: никакой индустриальности, никакой дистанции. Пары полицейских брали по жертве, вели в лес, укладывали лицом вниз, стреляли в затылок из винтовки в упор. В упор — значит, кровь на мундире, осколки на сапогах, крик рядом с ухом. Работали сменами, с перерывом на обед, который подвезли в лес, с водкой, выданной для облегчения. Командир Трапп в лесу не появлялся — остался в деревне, руководил из штаба; протоколы фиксируют, что он плакал и не мог смотреть [1]. К вечеру расстреляно около тысячи пятисот человек — за один день, одним батальоном, вручную. Участники вспоминали на допросах: руки дрожали, промахивались, добивали; кто-то стрелял мимо нарочно; кто-то напивался до бесчувствия; кто-то подходил к офицеру и просился прочь — и его отпускали прочь, без трибунала, без позорного столба, с переводом на охрану грузовиков. Этот факт повторяется в протоколах как рефрен: отпускали. Возможность выйти существовала весь день. Люди продолжали [1].

Браунинг, сведя допросы, выделяет состав участия: ядро активных стрелков — меньшинство, но значительное; группа «делавших» — большинство: стреляли, потому что делали все; уклонившиеся — от десяти до двадцати процентов в разные оценки по разным операциям. И дальше — главное: со временем доля уклоняющихся не росла, а падала. Батальон привык. Через месяцы это были профессионалы, которые ездили на «еврейскую охоту» — *Judenjagd*, поиск прячущихся в лесах и подполах, — как на служебное задание, и обсуждали его без водки и без слёз [1]. Вот что делает время: первый Юзефув стоил батальону обед, водку и бессонницу; десятый стоил ничего. Привыкание, измеренное Гарреттом и Шарот на мелкой лжи [26], здесь измерено на жизнях — и график тот же: ослабление реакции при росте дозы.

4.4. Механизм по винтикам

Разберём Юзефув по схеме, которая уже применялась к Страсбургу и Бенгалии, — станок должен показать те же узлы.

Винтик первый: приказ и авторитет. Задача спущена сверху, в форме, которая не оставляет места для вопросов — оставляет место только для выбора «в строю / из строя». Милгрэм на месте: авторитет забрал ответственность, и большинство приняло это как облегчение [17]. Винтик второй: группа. Из строя выйти — значит оставить товарищей делать грязную работу за тебя; Браунинг называет это главным тормозом отказа: не страх наказания (его не было), а стыд перед своими — не хочешь выглядеть слабым, не хочешь быть тем, кто отсиделся, пока другие стреляли [1]. Это первый круг из главы первой, сжатый до батальона: принадлежность против совести, и принадлежность выигрывает у большинства. Винтик третий: расчеловечивание. Жертвы доставлены в деревню уже оформленные годами пропаганды и месяцами оккупационной лексики — категорией, а не соседями; жандарм, убивавший польского еврея, не убивал того, кто мог быть его гамбургским соседом, — круг был перенастроен заранее, до батальона, государственной машиной языка [7]. Винтик четвёртый: эскалация. Юзефув был первым — потому и страшен для участников; вся последующая карьера батальона — лестница после первой ступени. Винтик пятый: анестезия — водка, обед, смены, рутина; машина позаботилась, чтобы у исполнителя было чем заглушить зеркало. Винтик шестой — и вот он уникален для этого кейса: документированная дверь выхода, через которую не вышли девяносто процентов. Не замурованная дверь — открытая, с крыльцом и табличкой «выход без наказания». Не вышли. Вот ответ Юзефува на вопрос «почему обычные люди»: потому что выход из строя стоит не жизнь — он стоит принадлежность, самоуважение и взгляд товарищей, а для большинства этого достаточно, чтобы остаться в строю и нажать.

И последний винтик, самый неудобный для всех версий сразу: уклонившиеся были, и они были такими же обычными людьми — не героями, не святыми, по протоколам часто просто более старшими, семейными, «не смогли». Их никто не расстрелял, не судил, не опозорил — их перевели. И это разбивает два утешения сразу. Утешение «они не могли отказаться — их бы убили» — разбито: могли, и не убили бы. Утешение «на их месте поступил бы так же любой» — разбито: рядом стояли те, кто не поступил, значит, не любой. Что остаётся? Остаётся самое трудное: между строем и выходом из строя стоит разница, которую нельзя свалить ни на обстоятельства, ни на природу. Эта разница называется человек. В Юзефuve она была распределена примерно как девять к одному. Запомни пропорцию. Она понадобится в финале.

4.5. После Юзефува: что стало с людьми и с уроком

Батальон дослужил войну на тех же задачах: облавы, расстрелы, охота. После войны — следствие, процессы шестидесятых, из которых и выросла книга Браунинга: бывшие резервисты давали показания, седые, пенсионеры, отцы и деды, и показания эти — самый страшный архив XX века не потому, что в них зверства, а потому, что в них быт: «после первого раза было плохо, потом привыкли», «мы не думали об этом», «все делали» [1]. Наказание досталось единицам; большинство ушло в обычную жизнь, вернулось к станкам и прилавкам, вырастило детей. Спроси у этих детей, кем были их отцы, — ответ известен: нормальными. И это не ложь детей. Это правда эпохи: они были нормальными. Нормальность — не стена от зла. Нормальность — почва, на которой зло растёт, если полито приказом, группой и временем.

Что Юзефув говорит этой книге? Три вещи, без которых глава не закончена. Первое: «я бы не смог» и «я бы не стал» — разные предложения, и путать их — самообман. Не смог — про руки, руки у всех работают; не стал — про выбор, а выбор есть у каждого, у кого есть дверь. Второе: отказ не требует героизма в моменте — он требует готовности заплатить ценой принадлежности: тем, что назовут слабым, чужим, не из команды. Эта цена краткая, конечная, переживаемая — и её бояться больше, чем вины на всю жизнь, потому что вина потом и редактируется бесплатно, а взгляд товарищей — сейчас. Третье: те десять процентов, что вышли из строя, существовали, существуют и будут существовать в каждом эпизоде — и от них зависит не только их совесть. От них зависит, увидит ли строй пример. Милгрэм показал: рядом отказался один — подчинение рушится [17]. В Юзефuve не хватило не храбрых — их было десять процентов, — не хватило первого, за которым видно, что можно. А теперь последний поворот кейса: тем, кто вышел первым, легче не было. Он вышел в тишину, без гарантии, что кто-то пойдёт следом. Именно поэтому выход первого — единственный жест, который эта книга готова назвать героизмом, не морщась от слова. Всё остальное — социальные технологии.

4.6. Контрольный кейс: Милай, 16 марта 1968 года

Юзефув был выбран потому, что там была документированная дверь, которой не воспользовались девяносто процентов. Но одного эпизода мало для вывода о человеке вообще — эпизод можно списать на эпоху, нацию, форму. Нужен контрольный кейс: другой континент, другая армия, другое столетие идеологий. Он есть, и он обидно похож.

Входные данные. Деревня Сонми, квартал Милай 4, провинция Куангнгай, Южный Вьетнам. Рота «Чарли», 1-й батальон 20-го пехотного полка, дивизия «Америкал». Утро 16 марта 1968 года. Рота месяцами несла потери — от мин, растяжек, снайперов, — не видя противника: война без фронта, где враг растворён в деревнях и в ночи. Накануне операции людям объяснили: деревня враждебна, мирных жителей в ней к утру не будет, все встречные — противник. Что именно было сказано на инструктаже — историки спорят, показания участников расходятся, и эта книга не будет подделывать единый текст: версии от «уничтожить всё живое» до «была лишь жёсткая установка»; важно другое — в какую голову легла любая из версий [34].

Что произошло дальше, установлено расследованием. За несколько утренних часов были убиты сотни мирных жителей: оценка армии США — 347 человек, мемориальный список в Сонми — 504; старики, женщины, дети, младенцы [34]. Встречного огня не было: рота не получила за тот день ни одного выстрела. Часть жителей согнали группами в канаву и расстреляли; лейтенант Уильям Келли стрелял лично, по свидетельствам — в том числе по группам у канавы. Разберём по схеме, которую глава применяла уже трижды, — станок обязан показать те же узлы. Приказ: размытый, спорный, но спущенный сверху в форме, не предполагающей вопросов. Группа: рота, сплочённая потерями, — «мы или они», самый древний клей. Расчеловечивание: лексика войны, где деревня — категория, а не соседи; жанр установки «враждебная территория» снимает селение из круга лиц. Эскалация: первые выстрелы — и остановиться уже не на чем, лестница разогнана. Анестезия: рутина «зачистки», жара, страх. Пять винтиков из шести — на месте. Шестой, юзефувский, — дверь — тоже нашёлся. И вот ради него кейс и стоит в книге.

Дверью оказался экипаж вертолёт. Пилот Хью Томпсон-младший, бортстрелок Гленн Андреотта, борттехник Лоуренс Колберн с высоты видели канавы. Томпсон посадил машину между американскими солдатами и группой жителей, приказал экипажу держать роту под прицелом бортового оружия — своих под прицелом своих, — вывез людей, доложил наверх [34]. Это «выйти из строя» в чистом виде: не отсутствие участия, а физическое вставание между дулом и затылком. И вот цена, не выдуманная для назидания, а задокументированная: в первые годы Томпсона на родине многие считали предателем — угрозы, оскорбительные письма, звучавшие даже в Конгрессе голоса, что судить надо не стрелявших, а его. Признание пришло через тридцать лет: Медаль Солдата — в 1998 году. Дверь, как и в Юзефове, оказалась открытой, бесплатной юридически — и бешено дорогой социально.

А дальше — повтор второго юзефувского урока, про машину и винтики. Сверху лёг рапорт: успешная операция, сто двадцать восемь уничтоженных противников. Соккрытие удержалось бы навсегда, если бы не Рональд Райденауэр — солдат, в Милае не участвовавший, но наслушавшийся рассказов: в марте 1969 года он разослал письма конгрессменам и президенту с требованием расследования [34]. Последовала комиссия Пирса, суды над несколькими офицерами — и один приговор: Келли, пожизненное заключение, смягчённое высшей властью до примерно трёх с половиной лет домашнего ареста. Один винтик наказан — машина сохранена; шесть тысяч километров от Юзефува, и та же пропорция виноватых к наказанным.

Зачем книге два кейса одного чертежа? Чтобы окончательно закрыть спасительную мысль «это было тогда и там». 1942 и 1968, Европа и Азия, полиция и армия, тоталитарная машина и демократия, — а узлы совпадают до расположения болтов. Меняется декорация;

станок тот же; цена двери та же; процент вышедших — тот же порядок, единицы на сотни. И в обоих кейсах остановка началась не с массового пробуждения совести, а с конкретных людей, сделавших конкретный жест против тока: экипаж, посадивший вертолёт, и солдат, написавший письма. Жестокость — конвейер; остановка — всегда ручная. Это и есть третий урок кейсов, после урока двери и урока цены: рука на рубильнике — единственный элемент системы, который не входит в её проект. Всё остальное входит.



Илл. 4

Илл. 4. «Опушка, рассвет». Цепь фигур с длинными тенями — и один, вышедший из строя, спиной к цепи. Десять процентов; цена платится наличными и немедленно.

5. НЕУДОБНАЯ ПРАВДА

Эта глава долго шла к одному месту, и вот оно. Дальше — без исторических смягчений, без психологических купюр, без философских подушек. Только тезисы. Каждый проверен этой главой; каждый неприятен; каждый правдив. Читай медленно — здесь экономия слов означает концентрацию.

Первое. Жестокость не требует ненависти. Это главное заблуждение порядочных людей: они ищут зло в страстях, а оно живёт в процедурах. Ненависть утомляет, ненависть дорога, ненависть нестабильна — машина на ней не работает. Машина работает на послушании, тщеславии, карьере, страхе прослыть слабым и привычке. Эйхман не ненавидел — он исполнял; полицейские Юзефува не ненавидели — они не вышли из строя; милгрэмовские испытуемые не ненавидели — они потели, дрожали и нажимали. Если бы для резни требовалась ненависть, резни были бы редкостью. Требуется расписание — резня и есть редкость только в новостях твоей страны.

Второе. Ты не знаешь, кто ты, пока тебя не вызвали. Все, кто нажимал до четырёхсот пятидесяти вольт, накануне эксперимента считали себя неспособными на это. Все, кто стрелял в затылки в лесу под Юзефувом, годом раньше разносили письма и писали штрафы. Уверенность «я бы не смог» — не знание, а отсутствие вызова. Статистика безжалостна: в базовой схеме Милгрэма остановились бы двое из троих читающих эту книгу. Не потому что читатели хуже других — потому что они такие же. Единственный, кто имеет право на уверенность, — тот, кого уже вызывали и кто отказался. Остальные имеют право на надежду и обязаны сомневаться.

Третье. Общество не наказывает жестокость. Общество наказывает жестокость без разрешения. Сравни два акта, идентичных до последней капли крови: один совершён в форме, с ордером, в рабочее время — и исполнитель получает пенсию; другой — вне формы, без ордера — и исполнитель получает срок. Разница не в содеянном, а в печати. Это не цинизм автора, это бухгалтерия истории: палачи проигравших режимов садятся, палачи победивших пишут мемуары. Нюрнберг судил тех, кто проиграл; победители судили — в зале, где не все сами были чисты, — и это не отменяет Нюрнберг, это лишний раз доказывает тезис: жестокость преступна не тогда, когда причиняет боль, а тогда, когда теряет лицензию.

Четвёртое. Отказ оплачивается немедленно и наличными, подчинение — в рассрочку. Цена отказа известна в момент выбора: взгляд группы, слово «предатель», место за бортом. Цена подчинения приходит счётами потом — бессонницей через десять лет, детьми, которым не расскажешь, диагнозом, который у исполнителей тоже случается, чего бы ни говорила мифология о каменных сердцах. Психика — плохой бухгалтер: она всегда выбирает рассрочку, потому что сегодняшний взгляд товарища весит больше, чем призрак двадцатилетней давности. Поэтому выбор в строю предопределён заранее — не нравственностью, а процентной ставкой. Хочешь чаще видеть отказ — сделай его дешевле или сделай подчинение дороже. Всё остальное — проповеди.

Пятое. Мораль масштабируется плохо. Эмпатия — оборудование для деревни в полторы сотни человек, а не для планеты в восемь миллиардов. Один тонущий ребёнок у берега остановит тебя; статистика утопленников на другом континенте не остановит никого — и это не испорченность, это прошивка. Зло умеет в масштаб: оно переводит людей в единицы, единицы — в графы, графы — в итоги, и на каждом переводе теряет немного крови, пока на бумаге не останется чистая арифметика. Добро масштабироваться не умеет — ему нужны лицо, имя, история. Отсюда вечное преимущество механизма над сердцем: механизм работает с миллионами, сердце — с одним.

Шестое. Жестокость консервативна. Она никогда не приходит под своим именем. Она приходит как порядок, как безопасность, как гигиена, как необходимость, как «так было всегда», как «другого выхода нет». Революционер жестокости — редчайший зверь; обычный её проводник — хранитель: он охраняет норму от тех, кто в норму не влезает. Поэтому опознавай её не по речам о ненависти — их почти не бывает, — а по речам о чистоте, заражении, угрозе, неизбежности. Когда начинают говорить «иначе нельзя», слушай внимательно: именно в этот момент рядом ставят стул человеку с печатью.

Седьмое. Репетиция идёт с детства и не скрывается. Школа учит сидеть по звонку, улица учит не выделяться, взрослые учат «не лезь, не твоё дело», группа учит смеяться, когда смеются все. К тридцати годам человек отрепетировал подчинение десять тысяч раз в мелочах — и когда приходит большой вопрос, у него нет мышцы для большого отказа, потому что маленькие отказы были запрещены как неудобные. Общество, которое воспитывает удобных, не вправе удивляться удобству палачей. Оно их штампует серийно и потом торжественно ужасается браку, который само же и выпустило.

Восьмое. Никто не считает себя злом — и это не лицемерие. Палач в своей голове — работник, отец, человек с трудной долей, иногда — жертва обстоятельств, иногда — герой, взявший на себя грязь ради чистоты других. Это не маска, которую он носит перед другими; это интерьер, в котором он живёт. Зло не знает себя в зеркале — вот почему зеркала надо приносить извне и вот почему книги вроде этой не развлечение. Ты тоже в своей голове хороший. Исполнители Юзефува тоже были хорошими в своих головах — проверено протоколами допросов. Совпадение не случайно и утешения не содержит.

Девятое. Расстояние — главный усилитель. Современный человек не стал добрее средневекового — он стал удалённое. Палач Средневековья пачкал руки и слышал; современный нажимает кнопку, подписывает строку, ставит галочку, и страдание происходит вне сенсорного поля — удобно, гигиенично, масштабируемо. Гроссман показал это для ружья и бомбы; бухгалтерия показала это для лагеря; логистика показывает это сегодня для всего, что делается далеко и по цепочке. Цивилизация не отменила жестокость — она её аутсорсировала, и теперь она работает удалённо, без ненависти, без крови на рукаве, с хорошей пенсией и чистой совестью формата «я только нажимал».

Десятое. Жестокость заразна через зрителей. Площадь 1757 года на первой гравюре этой главы — не пассивный фон: зритель — соучастник легитимации. Толпа не просто смотрит — она своим присутствием подписывает акт: раз смотрят все, значит, можно; раз можно всем — можно и мне. Смех толпы — второй удар, нанесённый без рук: Бергсон давно заметил, что смех требует мгновенной анестезии сердца, и публичная насмешка над жертвой делает то, чего не делает приговор, — превращает страдание в программу вечера [8]. Запомни свою роль в любой такой сцене: зритель — не нейтральная позиция, это рабочее место. Уйти с площади — уже поступок; остаться и смеяться — уже участие. Нет билета «я только смотрел»: площадь продавала такой билет, и касса её работает до сих пор — переехав, впрочем, в экраны, где зритель даже не обязан стоять.

Одиннадцатое. Первый симптом — запрет на вопрос «зачем». Жестокость редко начинается с приказа причинить боль; она начинается с приказа не задавать вопросов. В йельской комнате участники, задававшие вопросы, получали стандартные четыре фразы — и ни одного ответа [17]; в батальоне вопрос был обрамлён как слабость; в конторе вопрос не предусмотрен формуляром. Это не случайность: вопрос — единственный инструмент, которым человек без оружия может остановить машину, и машина первым делом конфискует именно его. Поэтому диагностика проста и доступна без архивов: где задавать «зачем» становится подозрительным, несолидарным, «не ко времени», — там жестокость уже в здании, даже если пока только выбирает кабинет. Не жди окровавленных рук как знака. Жди момента, когда любопытство стало выглядеть как шпионаж.

Двенадцатое. Единственная прививка — репетиция отказа. Не знание — знанием сыт этот текст, а статистику он не улучшит. Не уверенность в себе — уверенность лопается при первом «вы должны». Прививка одна: тренированная привычка говорить «нет» в мелочах, где цена мала, — потому что мышца, не тренированная на граммах, не поднимет тонны. Отказ — навык, не свойство; навыки не даются при рождении и не выдаются с дипломом о высшей нравственности. Где твоя тренировка — вопрос к тебе. У главы к тебе вопросов больше не осталось: остался один, и он будет в финале.

6. ИРОНИЧНАЯ ПАУЗА

Должность

Жила-была деревня, и была у неё проблема: иногда приходилось делать неприятное. Кого-то изгонять, у кого-то отнимать, кого-то наказывать — жизнь, сами понимаете, строится из порядка, а порядок не строится из комплиментов. Каждый раз выходил доброволец, каждый раз на него потом косились, каждый раз он оправдывался: да я же для всех. Неловко, негигиенично, несолидарно.

И решила деревня поступить цивилизованно: учредить должность.

Собрались, проголосовали, записали в устав: с нынешнего дня всё неприятное исполняет один человек — выборный, ответственный, с окладом. Назвали должность красиво — Исполнитель Необходимого. Выбрали самого надёжного: трезвого, хозяйственного, с хорошим почерком. Вручили печать, штандарт и приёмные часы. С этого дня, сказали старейшины, мы все — добрые. Неприятное делает должность, а должность — не человек, должность — функция.

Первый год шёл прекрасно. Изгонять стали по понедельникам, отнимать — по средам, наказывать — по пятницам, с обедом с часу до двух. Исполнитель Необходимого вёл журнал, ставил печати, отчитывался квартально. Деревня расцвела нравственно: все были добрые. На вопросы отвечали едино: я против, конечно, но есть должность. Детям говорили: не обижай слабых — для этого есть специальный человек.

На третий год Исполнитель Необходимого попросил помощника: нагрузка. Помощника выбрали тоже надёжного. Потом помощнику понадобился писарь — отчётность. Потом писарю — архив. К седьмому году у должности было здание, штат, преysкурant и праздник — День Необходимого, с фейерверком и грамотами за безупречное исполнение.

На десятый год пришёл путник, посмотрел на здание, на очередь к окошку, на грамоты и спросил: а кто здесь злой? Деревня возмутилась хором: злых у нас нет, у нас есть должность. Путник почесал затылок: а раньше как было? Раньше, сказали старейшины с содроганием, был бардак: неприятное делал кто попало, без печати, без оклада — просто человек, представляете, просто взял и сделал. Дикость. Теперь порядок: неприятное делает назначенный, остальные сочувствуют.

Путник ушёл, а деревня жила дальше — добрая, согласная, с чистыми руками. Исполнитель Необходимого тоже был чист: он, если разобраться, только исполнял. Назначавшие тоже были чисты: они только назначали. Одобрявшие — те вообще только молчали. Проверка десятилетия спустя показала: злодейство в деревне исчезло окончательно — статистически, юридически, по всем отчётам. Осталась работа.

Мораль этой паузы не написана, потому что мораль — это тоже должность, и в этой книге она вакантна.

Приложение 12. Краткая инструкция по эксплуатации человека

Документ, помещённый ниже, не найден ни в одном архиве. Это подтверждено: архивы проверены, заявки поданы, ответы получены — «такой инструкции не существует». Ответы, как водится, верны по форме и ложны по существу. Инструкция существует. Она не хранится в архивах, потому что поставляется в базовой комплектации каждой системы и не требует учётного номера. Текст восстановлен по эксплуатационным следам — там, где системы работали, инструкция читается между строк, как прописи читаются под чернилами.

Пункт 1. Человек управляем. При отсутствии управляемости см. пункт 8 «Утилизация».

Пункт 2. Не управляйте человеком напрямую — это шумно и дорого. Выдайте человеку роль. Роль — это одежда, которая думает за спину. Подойдёт любая: исполнитель, хранитель, специалист, старший смены. Работоспособность роли проверяется просто: человек начинает оправдываться ею, не дожидаясь обвинения.

Пункт 3. Усиьте роль группой. Один человек с ролью — актёр. Группа с ролями — учреждение. Учреждение снимает с ролей статус одежды и выдаёт им статус стен. Внимание: не допускайте в группу человека, отказавшегося от роли публично, — изделие заразно, см. пункт 7.

Пункт 4. Не требуйте большого. Большое пугает. Требуйте ступеньку. Конструкция лестницы такова, что каждая ступенька выше предыдущей ровно настолько, чтобы разницы не было видно, и ни настолько, чтобы не вернуться. Оптимальный шаг — пятнадцать вольт, подтверждено испытаниями.

Пункт 5. Никогда не называйте изделие его именем. Имена включают у человека лишний прибор, см. пункт 6. Поставляйте изделие под артикулом: категория, объект, единица, вопрос. Артикулы складировать в документации. Документацию ведите аккуратно — аккуратность документации является гордостью системы и её единственным украшением.

Пункт 6. У человека имеется заводской прибор самопроверки — далее «зеркало». Прибор энергоёмок и тормозит производство. Отключение зеркала не требуется: достаточно направить его на соседа. Человек с зеркалом, направленным на соседа, работоспособен, социален и полностью безопасен для системы.

Пункт 7. Сбойное изделие (высказавшее «нет» при свидетелях) изолируйте немедленно. Наказание не обязательно и часто вредно: наказание делает из сбоя историю, а история — это роль, см. пункт 2. Рекомендуемая процедура — смущение, недоумение, слово «странный». Изделие, покрытое смущением, перестаёт копироваться окружающими.

Пункт 8. Утилизация. Изделия, не поддающиеся пунктам 2–7, не ремонтпригодны. Не пытайтесь их сломать — сломанное громко. Лучшая утилизация — молчаливая: пусть стоит в углу, пусть видно, что стоит в углу. Остальные сделают вывод сами; выводы, сделанные самостоятельно, служат дольше приказов.

Пункт 9. Гарантийный талон прилагается. Срок гарантии — пожизненный. Гарантия не распространяется на случаи, когда человек читал инструкцию. Именно поэтому инструкция не хранится в архивах и поставляется без обложки.

Подпись, печать и дата на документе отсутствуют. Это последнее, что должно было настоять, — и первое, что никогда нестораживает.

7. ИЛЛЮСТРАЦИИ К ГЛАВЕ 3

Как и в прошлых главах, иллюстрации здесь — не украшение, а продолжение текста другими средствами. Пять гравюр, стиль единый: старая медь, сепия и чернь, тонкая штриховка, светотень. Подписи — под изображениями; место каждой гравюры в главе выбрано не случайно.

Илл. 1. «Площадь, 1757».Публичная казнь эпохи зрелища: эшафот в центре, кольцо зрителей в три ряда, окна домов наполнены головами, торговец с подносом пробрался в первый ряд. Гравюра о фоне — о времени, когда страдание было общественным сезонным зрелищем с программой и входом свободным.

Илл. 2. «Кабинет № 1».Комната милгрэмовского эксперимента, стилизованная под гравюру XIX века: человек за пультом с тридцатью тумблерами, рука над рядом, за стеклом — кресло с ремнями. На стене табличка: «Опыт обучения и памяти». Гравюра о точке, где наука случайно сделала рентген века.

Илл. 3. «Машина».Бесконечная контора: ряды столов, уходящие в тёмную перспективу, на каждом столе — стопка, печать, спина. В центре — окошко, из которого выезжают бумаги, и ни одного лица целиком. Гравюра о жестокости без жестоких — о механизме, который переживает своих винтиков.

Илл. 4. «Опушка, рассвет».Лес под Юзефувом: цепочка фигур с длинными тенями, один человек вышел из строя и стоит спиной к цепи, глядя в другую сторону. Гравюра о десяти процентах — о цене, которую платят наличными и немедленно.

Илл. 5. «Зеркало площади».Толпа на площади, и у каждого в руках небольшое зеркало, направленное на соседа: все смотрят на всех, никто — на себя. Посередине — один опущенный взгляд в собственное стекло. Гравюра о главном приборе этой книги и о его редкой эксплуатации.

8. ФИНАЛ

Возвращаясь к звонку в дверь — с него глава началась, им и кончится. Дверь уже не гипотетическая: после Милгрэма, Юзефува, конторы и площади ты знаешь, кто звонит. Звонит не зло — зло звонков не делает, оно оформляет заявки. Звонит ситуация: вежливая, легитимная, с протоколом, с лестницей, где каждая ступень выше предыдущей на пятнадцать вольт.

Глава хотела выяснить, из чего сделана жестокость. Ответ, снятый с приборов и протоколов, оказался скучным до ужаса: не из чего. Нет специальной субстанции, нет демонического ингредиента, нет гена палача и нет племени палачей. Есть обычный человек — проверено лицейскими резервистами, студентами Стэнфорда и жителями Нью-Хейвена, — плюс роль, плюс группа, плюс лестница, плюс расстояние, плюс язык, где жертва уже не совсем человек. Сложи — получишь то, что история называет катастрофой, а бухгалтерия — периодом интенсивной работы. Вычсть можно тоже: убери один элемент — иногда ломается вся конструкция. Рядом отказался один — и цепь дрогнула; из строя вышли десять — и остальным стало на кого смотреть. Жестокость прочна, как здание из привычек; у здания из привычек есть слабые этажи, и первый из них — пример.

Что с этим делать — глава не сказала и не скажет: книга не нанималась в утешители. Она сделала единственное, на что нанималась: показала механизм со всеми винтиками и отдала тебе чертёж. Заметь, что чертёж двусторонний: на нём видно, как собирают машину, — и где у неё болты. Тот же лист, тот же масштаб. Кем быть на этом чертеже — винтиком, болтом или рукой, которая вовремя легла на рубильник, — решается не в этой книге. Решается по понедельникам, средам и пятницам, в мелочах, на пятнадцати вольтах.

Остался нетронутым один узел станка — глава его обошла нарочно, потому что он не помещается в главу. Все измеренные механизмы — приказ, группа, лестница, расстояние, роль, лексика, — работают после того, как человек уже внутри конструкции. Но кто и когда его туда впустил? Почему человек вообще входит в строй, садится за пульт, берёт роль с вешалки, — и входит, заметь, почти всегда добровольно, задолго до первого «вы должны»? Никто не тащил милгрэмовских испытуемых в лабораторию — они пришли по объявлению; никто не заставлял резервистов вступать в полицию; офис со списком из открытия этой главы человек нашёл сам, по собственному резюме. Станок не похищает — станок принимает добровольцев, и в этой детали скрыт механизм страшнее всех измеренных выше: подчинение начинается не с приказа, а с согласия, причём с согласия, которое человек приносит сам, охотно, часто с благодарностью за то, что его приняли. Вот куда указывает последний винтик: на дверь, в которую входят сами. Этой двери посвящена следующая глава книги — про добровольное рабство, про человека, который просится в цепи и обижается, когда ему отказывают. Ла Боэси написал про неё шестнадцатилетним; Фромм назовёт это бегством от свободы; эта книга назовёт её своим именем, когда дойдёт. А пока глава сдаёт тебе свой инструмент. Он невелик: счётчик. Считай ступени по пятнадцать вольт, считай подписи в маршруте, считай переименования в лексике, считай взгляды группы на твой затылок. Где счёт идёт — там лестница; где лестница — там верхняя площадка, с которой, как показал архив, возвращаются немногие. Утешения эта глава не выдала — оно и не входило в комплект. Вместо утешения выдано знание: машина узнаваема, узлы пересчитаны, дверь существует, цена двери известна, пример первого вышедшего существует тоже. Это не гарантия. Это чертёж. Гарантий книга не выдаёт ни на одной странице — и эта честность, впрочем, тоже входит в её комплект.

Поэтому вопрос, который глава поставила на пороге, остался без изменений — изменился только его вес, потому что теперь ты знаешь статистику ответа.

На каком шаге ты бы остановился?

Ты уверен?



Илл. 5

Илл. 5. «Зеркало площади». Толпа смотрит на толпу — у каждого зеркало, направленное на соседа; посередине — один опущенный взгляд в собственное стекло. Главный прибор этой книги и его редкая эксплуатация.

СНОСКИ К ГЛАВЕ 3

[1] Browning C. R. *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*. New York: HarperCollins, 1992 (рус. пер.: Браунинг К. Обычные люди. Резервный полицейский батальон 101 и «окончательное решение» в Польше. М., 2022).

[2] Foucault M. *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Paris: Gallimard, 1975 (рус. пер.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999).

[3] Hopkins K. *Death and Renewal: Sociological Studies in Roman History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983; Coleman K. M. *Fatal Charades: Roman Executions Staged as Mythological Enactments* // *Journal of Roman Studies*. 1990. Vol. 80. P. 44–73.

[4] Kamen H. *The Spanish Inquisition: A Historical Revision*. New Haven: Yale University Press, 1997.

[5] Levack B. P. *The Witch-Hunt in Early Modern Europe*. 3rd ed. London: Pearson Longman, 2006. Общее число казнённых историки оценивают различно — от нескольких десятков тысяч и выше; точная цифра не поддаётся подсчёту из-за состояния архивов, порядок оценок у большинства исследователей совпадает.

[6] Shklar J. N. *Ordinary Vices*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

[7] Smith D. L. *Less Than Human: Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others*. New York: St. Martin's Press, 2011.

[8] Bergson H. *Le Rire. Essai sur la signification du comique*. Paris: Félix Alcan, 1900.

[9] Решение Международного уголовного трибунала по Руанде по «делу о СМИ»: Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze (ICTR-99-52-T), приговор от 3 декабря 2003 г.; о лексике обезчеловечивания в академической евгенике см. также: Kevles D. J. *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity*. New York: Knopf, 1985.

[10] Marshall S. L. A. *Men Against Fire: The Problem of Battle Command in Future War*. New York: William Morrow, 1947. Статистика Маршалла впоследствии неоднократно оспаривалась методологически (см., например: Spiller R. J. S. L. A. Marshall and the Ratio of Fire // *RUSI Journal*. 1988. Vol. 133. No. 4. P. 63–71); книга приводит её как исторический факт влияния, а не как точное измерение.

[11] Grossman D. *On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society*. Boston: Little, Brown, 1995.

[12] Gross J. T. *Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland*. Princeton: Princeton University Press, 2001 (рус. пер.: Гросс Я. Т. Соседи: История уничтожения еврейского местечка. М., 2004).

[13] Khan Y. *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*. New Haven: Yale University Press, 2007. Оценки числа погибших при разделе Британской Индии в 1947 г. расходятся у историков в диапазоне от нескольких сотен тысяч до двух миллионов.

[14] Friedländer S. *Nazi Germany and the Jews*. Vol. II: *The Years of Extermination, 1939–1945*. New York: HarperCollins, 2007.

[15] Hilberg R. *The Destruction of the European Jews*. New York: Quadrangle Books, 1961; 3rd ed. New Haven: Yale University Press, 2003.

[16] Arendt H. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Viking Press, 1963 (рус. пер.: Арендт Х. Эйхман в Иерусалиме: Банальность зла. М., 2008).

[17] Milgram S. *Obedience to Authority: An Experimental View*. New York: Harper & Row, 1974 (рус. пер.: Милгрэм С. Подчинение авторитету. Научный взгляд. СПб., 2016).

[18] Perry G. *Behind the Shock Machine: The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments*. Melbourne: Scribe, 2012. Архивная критика Перри оспаривается

частью исследователей; книга приводит её как поправку к канонической версии, а не как опровержение основного результата.

[19] Burger J. M. Replicating Milgram: Would People Still Obey Today? // *American Psychologist*. 2009. Vol. 64. No. 1. P. 1–11.

[20] Zimbardo P. G. *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. New York: Random House, 2007 (рус. пер.: Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. СПб., 2014).

[21] Le Texier T. *Histoire d'un mensonge: Enquête sur l'expérience de Stanford*. Paris: La Découverte, 2018.

[22] Reicher S. D., Haslam S. A. Rethinking the Psychology of Tyranny: The BBC Prison Study // *British Journal of Social Psychology*. 2006. Vol. 45. No. 1. P. 1–40.

[23] Cesarani D. *Eichmann: His Life and Crimes*. London: William Heinemann, 2004; Stangneth B. *Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a Mass Murderer*. New York: Alfred A. Knopf, 2014.

[24] Goldhagen D. J. *Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust*. New York: Alfred A. Knopf, 1996 (рус. пер.: Голдхаген Д. Добровольные палачи Гитлера. Обычные немцы и Холокост. М., 2011).

[25] Festinger L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press, 1957.

[26] Garrett N., Lazzaro S. C., Ariely D., Sharot T. The Brain Adapts to Dishonesty // *Nature Neuroscience*. 2016. Vol. 19. P. 1727–1732.

[27] Arendt H. *The Life of the Mind*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978 (рус. пер.: Арендт Х. Жизнь ума. СПб., 2013).

[28] Lévinas E. *Totalité et infini: Essai sur l'extériorité*. La Haye: Martinus Nijhoff, 1961 (рус. пер.: Левинас Э. Тотальность и бесконечное. М.; СПб., 2000).

[29] Girard R. *La violence et le sacré*. Paris: Bernard Grasset, 1972 (рус. пер.: Жирап Р. Насилие и священное. М., 2000).

[30] Fromm E. *The Anatomy of Human Destructiveness*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973 (рус. пер.: Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994).

[31] Langbein J. H. *Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Régime*. Chicago: University of Chicago Press, 1977; Beccaria C. *Dei delitti e delle pene*. Livorno, 1764 (рус. пер.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995).

[32] Bandura A. *Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves*. New York: Worth Publishers, 2015.

[33] Buckels E. E., Jones D. N., Paulhus D. L. Behavioral Confirmation of Everyday Sadism // *Psychological Science*. 2013. Vol. 24. No. 11. P. 2201–2209; Paulhus D. L., Williams K. M. The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy // *Journal of Research in Personality*. 2002. Vol. 36. No. 6. P. 556–563.

[34] Report of the Department of the Army Review of the Preliminary Investigations into the My Lai Incident (Peers Report). Washington, D.C., 1970; Oliver K. *The My Lai Massacre in American History and Memory*. Manchester: Manchester University Press, 2006.

[35] MacNair R. M. *Perpetration-Induced Traumatic Stress: The Psychological Consequences of Killing*. Westport, CT: Praeger, 2002; Osofsky M. J., Bandura A., Zimbardo P. G. The Role of Moral Disengagement in the Execution Process // *Law and Human Behavior*. 2005. Vol. 29. No. 4. P. 371–393.

[36] Nietzsche F. *Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift*. Leipzig: C. G. Naumann, 1887, Zweite Abhandlung (рус. пер.: Ницше Ф. К генеалогии морали. // Сочинения в 2 т. М., 1990, т. 2).

ГЛАВА 4. ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО

Я вс

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.